



Александр Чанцев

КОГДА
РЫБЫ
ВСТРЕЧАЮТ
ПТИЦ

КНИГИ,
ЛЮДИ,
КИНО

Елена Евгеньевна Яблонская

Крым как предчувствие (сборник)

Текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11973664

Крым как предчувствие: Алетейя; Санкт-Петербург; 2015

ISBN 978-5-9906155-3-3

Аннотация

В сборник московской писательницы Елены Яблонской «Крым как предчувствие» вошли повести, рассказы и эссе, написанные в период с марта 2007 г. по декабрь 2014 г. Все произведения расположены в порядке написания и связаны с Крымом, малой родиной автора. Книга убедительно свидетельствует о том, что Крым лишь формально был в течение некоторого времени за границей для русских людей. Крым Елены Яблонской – образ потерянной, но неотъемлемой части России, снова чудом и уже навеки вернувшейся к нам, образ родной и одновременно, по словам президента и премьер-министра России, *сакральной территории*. Книга посвящена годовщине величайшего события – торжеству человеческой и исторической справедливости – воссоединения Крыма с Россией.

Содержание

Обретение Крыма	5
Повести. Рассказы	11
С перевалов Гиндукуша	11
Дом Ханжонкова	22
Наша бабушка лучше	46
Разбитое будущее	67
Сталинские соколы	79
1	79
2	84
3	91
4	96
5	104
6	110
7	116
8	121
Конец ознакомительного фрагмента.	129

Елена Яблонская

Крым как предчувствие

© Е. Е. Яблонская, 2015

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2015

Обретение Крыма

Елена Яблонская, выпускница моего семинара прозы на Высших литературных курсах Литературного института им. Горького, родилась и жила до окончания средней школы в Ялте. Связей с Крымом она никогда не теряла и постоянно писала о нем – прозу и художественную публицистику. В 2014 году у нее вышла небольшая книга «Город мой – Ялта» (М.: МГО СП России, НП «Литературная республика», 2014). И вот, наконец, пришло время для большой книги Яблонской о Крыме, что стало, наверное, не только следствием исторического воссоединения Крыма с Россией, но и необходимостью автора подвести черту под этапом своего творчества, когда ее малая родина была за границей. Но была она ею лишь формально, о чем убедительно свидетельствуют повести, рассказы и эссе из этой книги. Крым Яблонской – образ потерянной и неотъемлемой части России, чудесным образом снова вернувшейся к нам. Даже в словах президента и премьер-министра, людей, не склонных к сантиментам, мы слышим сегодня, что Крым – это не просто территория, пусть даже очень хорошая, это – *сакральная* территория.

Да, не торговым, не субтропическим раем был для русских Крым... Мы, может быть, даже не вполне осознаем, какое место занимает он в нашей истории. Здесь русская цивилизация повстречалась с Грецией и Римом. Первые христи-

ане появились в Крыму еще в I веке новой эры. И восприняли христианство мы из Крыма, где крестился Владимир Святой. К тому времени здесь уже была основательная прослойка восточнославянского населения (вопреки утверждениям идеологов крымско-татарского меджлиса). Активность славянских переселенцев в Крыму являлась высокой уже в VII–VIII вв. Археолог Н. С. Барсамов обратил внимание на наличие интенсивного славянского материала в культурных слоях Тепсенского городища в Коктебеле, расположенного в 25 км от Сурожа. Вывод Барсамова был подтвержден не только новыми исследованиями на Тепсене (В. П. Бабенчиков) но и материалами раскопок на Керченском полуострове (Тиритакка, Илурат) в Пантикапее. Прямое отношение к Крыму имеет знаменитый «Тмутороканский камень» XI века, третий по древности памятник русской письменности («В лето 6576, индикта 6, Глеб князь мерил море по леду: от Тьмуторокана до Кърчева 10000 и 4000 сажень»). Многие исследователи считают Тмутороканское княжество, во владения которого входил Корчев (Керчь), одним из первых славянских княжеств на Руси. А Черное море в ту пору называлось Русским. После татаро-монгольского нашествия еще неизвестно, кто был более опасен для Руси – Орда на востоке или крымские ханы на юге. Поэтому сражение при подмосковных Молодях в 1572 г., когда князь Михаил Воротынский наголову разгромил соединенное войско крымчаков и турок, вдвое превосходящее наше войско, не менее важно было для России,

чем Куликовская битва. Петр I, прежде чем пробить окно в Европу на севере, пробил его на юге, совершив Азовский поход. Да и флот наш был создан не на севере, как многие считают, а на юге, специально для взятия Азова. А потом, во второй половине XVIII века, начались «времена очаковские и покоренья Крыма», великая битва с Турцией за Таврию, Крым и Кубань, приведшая сначала к восстановлению независимости Крымского ханства, а потом, стараниями блистательного Потемкина, и присоединению его к России. Не о стратегической важности Крыма писал Екатерине II Потемкин, убеждая ее взять полуостров под свою монаршую руку, и не о его экономическом значении, а прежде всего – о духовном: «Таврический Херсон! из тебя истекло к нам благочестие...»

Оценить значение этого события можно, лишь перенесясь на несколько десятилетий вперед, в 1854 г., когда «объединенная Европа» вместе с турками высадила громадный десант не где-нибудь, а в Крыму! Оборона Севастополя, описав которую Лев Толстой прославился на всю Россию... Поражение в Крымской войне, определившее исторический путь России вплоть до 1917 года. И наконец, последний аккорд гражданской войны в европейской части России – изгнание Белой армии из Крыма в ноябре 1920-го... Великий исход интеллигенции из России... В 1941–1942 – героическая, почти годичная оборона Севастополя от немцев, сковавшая на юге немалые силы Гитлера, так необходимые ему на востоке,

где шла битва за Москву. И первое после победы под Москвой наступление Красной Армии и Флота – Керченско-Феодосийская операция. Между прочим, это крупнейшая десантная операция советских войск за всё время войны. Развить наступление вглубь Крыма, прорваться к осажденному Севастополю тогда не удалось, но сам Керченский полуостров мы занимали около полугода. И, наконец, Ялтинская конференция антигитлеровской коалиции в феврале 1945 года: именно ее решения (даже не Потсдамские) стали основой послевоенного устройства мира вплоть до проклятого 1991 года!

Кто только ни был в Крыму: тавры, тавриски, мидийцы, древние греки, персы, скифы, киммерийцы, римляне, византийцы, гунны, сарматы, готы, аланы, хазары, караимы, половцы, русские, генуэзцы, евреи, татаро-монголы, крымские татары, армяне, турки, немцы-колонисты! Бывали эти народы и в других местах исторической России, но чтобы вот так, все вместе, на небольшом клочке земли!.. В двадцати минутах от Бахчисарая, ханской ставки, – древний Успенский православный монастырь, высеченный в горе, а напротив него, по ту сторону долины, горный город Чуфут-кале, бывшая византийско-аланская крепость, а потом оплот караимов-иудаистов... Взойдите на Чуфуткале, и что увидите вы? Пещерный город Тепе-Кермен на правильной, неправдоподобно ровной вершине Столовой горы. А с Тепе-Кермена – Качи-Кальон, древний горный монастырь. А с Качи-Кальо-

на – гору Мангуп, где была столица средневекового православного княжества Феодоро, последнего осколка Византии в Крыму. А с Мангупа Эски-Керменскую цитадель... Можно продолжать до бесконечности... Где такое встретите вы?

И еще: из всех описаний Крыма, даже если их оставил представитель древнего народа, обязательно следует, что и до этого народа кто-то жил в Крыму, и не просто жил, а еще и крепости строил, землю обихаживал... Крым, оказывается, вообще изучен только на 25 процентов, и это относится не только к истории и археологии, но и, что меня особенно поразило, географии! Например, в знании о пещерах и пещерных городах Крыма мы недалеко ушли от русских путешественников, посетивших Крым в конце XVIII века и сразу понявших, что земля эта, хотя и небольшая и находится не так далеко от России, но совершенно фантастическая и неведомая, Терра Инкогнита! Что же касается «белых пятен» в истории Крыма, то приведу характерный пример: все мы знаем, что такое Чонгарский вал и неоднократно видели его в фильмах о разгроме Врангеля, но знаем ли мы, кто его построил около тысячи лет назад?

Сегодня немногие даже из воцерковленных людей понимают, а почему, собственно, мы – Третий Рим? Только потому, что переняли от Рима Второго, Византии, Православие? Имперскую идею? Или потому, что Иван III привез из Византии жену, Софию Палеолог? В Крыму, среди развалин его византийских церквей и крепостей, начинаешь, наконец,

понимать, почему. **Узкий перешеек, отделяющий Крым от материка, есть, в сущности, мост между Вторым Римом и Третьим.** И ответ на вопрос о причинах уникальности России надо начинать искать здесь. Считаю, что Елена Яблонская написала одну из тех книг о Крыме, которая поможет нам в этих поисках.

*Андрей Воронцов,
сопредседатель Крымской организации
Союза писателей России,
доцент кафедры творчества
Литературного института им. Горького*

Повести. Рассказы

С перевалов Гиндукуша

Моим одноклассникам

Конечно, я никогда не была на этих перевалах. И Боже меня упаси! Но Афганистан, Афган, вошёл в жизнь моих ровесников так, что не вытравишь его из нас никакими перестройками.

Помню, в семьдесят девятом году, узнав про «ограниченный контингент», я, третьекурсница, совершенно по-бабьи пришла в ужас, хотя «Афган» не грозил никому из наших ребят, надёжно прикрытых военной кафедрой. Однокурсник Сашка с каким-то вдруг по-офицерски подтянувшимся лицом сказал строго: «Ты что, не понимаешь, что это наши границы?» Это было тем более неожиданно, что Сашка был диссидентом, то есть не настоящим, конечно, а так, мелко-травчатым, скорее слегка диссидентствующим, как все наши парни. Впрочем, не были ли таковыми тогда и все «настоящие»? Ну, там джинсы, фарцовка и «как надоело это всё», и мастерски изображаемый («Дорогие товарищи империалисты!») шамкающий Леонид Ильич. И конечно, фильмы Фассбиндера в «Иллюзионе», почему-то всегда с голыми

неграми или арабами... И обязательные «Собачье сердце» и «Иван Денисович», даваемые для прочтения на одну ночь. А однажды притащили в общагу настоящий заряженный пистолет, и Сашка, как дитя, радовался моему неподдельному страху. Ну, ещё разумеется, Галич, КСП и самое утомительное – так называемые «кабаки», то бишь «Метелица» на Калининском и «Космос» на Горького, как неперемненные атрибуты роскошной западной жизни. В этих кафешках мгновенно просаживалась вся стипендия и, устав от жизни такой, я выскочила замуж, как потом говорили «скоропостижно», за основательного медлительного Олега, который прежде, чем в перерыве между лекциями обратиться ко мне за чем-нибудь надуманным, ехидненько улыбался, поправлял средним пальцем очёчки на переносице и только после этого заводил: «Послушай, Танька...»

А потом в раннеперестроечную осень мы, три бездетные пока пары, каждый выходной бегали на Дальнее озеро, которое, как селезёнка, лежало под боком одного подмосковного Академгородка, в котором родился и вырос, и закончил физмат-школу, и куда распределился после института мой Олег. На озеро тащили специально купленный, грушевидный казан для каши, его ставили прямо в костёр на угли цвета переспевшего арбуза и варили пшёнку с китайской тушёнкой «Великая стена» или мою любимую крупу «Артек»... Гречка тогда была в дефиците. Туда же, в костёр, пихали старый, общежитский ещё чайник, который за два-три сеанса при-

озёрного сидения покрылся такой восхитительно ровной и мягкой сафьянной копотью, что взгляд, с наслаждением погружившись в её океанскую глубину, все медлил выныривать в наш пёстрый, сверкающий и, казалось, совсем не обязательный мир.

Свекровь возмущалась нашим, то есть моим (Олежек никогда ни в чём не виноват!) обращением с «вещью». Я же доказывала, что сие есть лучший способ упокоить его, чайникову, старость, а он это, безусловно, заслужил, потому как значительно старше нас с Олегом, ведь наш институт, а стало быть, и общежитие ведут свое начало от... Подоспевший Олег деликатно прерывал мои разглагольствования каким-нибудь неромантическим уточнением, что чайник-де никак не может быть старше нас, потому что ещё в общежитии он, Олег, якобы углядел через свои очки клеймо на доньшке “1962”. Шестьдесят второй год – Карибский кризис! Тогда чуть не началась война, а нам с Олегом было по три года, и о тех днях у нас не осталось никакого воспоминания. Зато я хорошо помню шестьдесят девятый год, конфликт на острове Даманский. Не сам конфликт, конечно, а то, как мой папа напряжённо всматривался в казавшиеся особенно страшными из-за своей одинаковости свирепо-воодушевлённые лица китайских солдат на маленьком экране нашей чёрно-белой «Верховины». Был тогда такой телевизор.

А в 1987 году мы пели на озере. «Наш костёр в туманах»

светит...» – выводила поставленным голосом Людочка. Басил Лёшка Терновский, дирижируя кружкой с сухим вином. Олег подпевал блеющим тенорком и страдальчески морщился, как бы уточняя и подправляя. Несчастный награждён абсолютным слухом и мучительно реагирует на малейшую фальшь. Я в этом обществе не смела и рта раскрыть. Пела про себя, а чаще, пятясь, отходила от костра, заглядывала в темнеющую озёрную воду, засматривалась на зубчатый лес на другом берегу, и почему-то перекатывалось во рту и ёкало в груди старинное слово «окоём» и было так созвучно и тёмной воде, и лесу, и тонкому молодому месяцу, повисшему в неподвижном ёмком воздухе...

В один из таких тихих вечеров, уже в начале ноября, после всех перепетых романсов Лёшка ни с того, ни с сего радостно загорланил:

Зачем же так, Кармаль Бабрак?
Зачем ты вызвал наши танки?
Ведь будут плакать наши Таньки,
За просто так, за просто так...

Олег восторженно подхватил. Лёшка, по-видимому, принес эту песню со своего «физтех», потому что мы с Олегом никогда её не слышали. Худенький белобрысенький Терновский (двадцатисемилетний кандидат физ. – мат. наук с уже – мы знали – написанной докторской диссертацией), да и мой рыхлый, очкастый, с ранними залысынами Олег так

не вязались с молодецки исполняемыми «танками», что мы с Людочкой то и дело прыскали в эмалированные кружки, а Анька Терновская счастливо и затаённо улыбалась. Внезапно вспыхивающий костёр вдруг выхватывал из темноты то Анькину щёку с ямочкой, то родинку над губой... В песне были поразившие меня слова: «Ведь с перевалов Гиндукуша Индийский виден океан...»

– Неужели действительно виден?

– Вряд ли. По-видимому, художественный образ, – подумав, отвечал честный и математически точный Терновский.

А дым от костра, в течение двух месяцев до этого уходивший прямо в небо задорной трубой, похожей на хвост распушившегося кота, вдруг забегал по кругу, полез в глаза. Мы, смеясь, пересаживались, расплёскивали вино, и каждому казалось, что дым гонится именно за ним. А потом сообразили, что такой тёплой, сухой и безветренной осени никто из нас не помнит, а ведь каждому, слава Богу, уже под тридцать. И никогда не видать нам Индийского океана. И почему-то была во всём этом светлая беспричинная грусть и беспокойная, как перед дальней дорогой, радость.

– Да зачем тебе этот океан? – удивлялся обожавший своё Подмосковьё Олег. – Смотри, как тут хорошо. А летом в Крым поедем.

Конечно, мы ездили в Крым (я, кстати, родом оттуда) и таскали по растрескавшемуся от жары и звенящему цикада-

ми Меганому тёмно-зелёные бутылки с «Алиготе» и пластиковые канистры с водой, которую мы воровали из цистерн, привозимых в прибрежное местечко с солёным рыбацким названием Капсель. А на самом верхнем, выветрившемся и как бы изъеденном оспинами утёсе бесшумно поворачивался радар, и солдатики поглядывали в свою, надо думать, мощнейшую «пограничную» оптику на девиц, «нудевших» там, внизу, у кружева приборя. На востоке угадывался запавший зачем-то в мою бездонную память волошинский «зубчатый окоём» и нестерпимо синело такое ласковое и родное «самое синее в мире Чёрное море моё». И я, смеясь и щурясь от ликующего синего блеска, рассказывала Олегу и Лёшке, как именно эту песню громко, с чувством запел в церкви мой одноклассник Витька Варенцов, когда его, семилетнего, привела на службу бабушка, и музыкальному Витеньке очень понравилось, «как они там поют».

Олегу с его линзами в «минус шесть с половиной» никакой Афган не грозил и без «военки», как называли наши мальчишки соответствующую кафедру с безжалостно высмеиваемым «товарищем подполковником». Но и из одноклассников моих сразу после школы загредел в армию только один – Славка Комаров. И, к счастью, не в Афганистан.

За малый рост Славку забрали в подводники. Вертлявый, с зычным голосом, отчаянно хулиганивший в школе Комар обошел на своей подводной лодке полмира и писал нашей классной руководительнице Лидии Васильевне такие

«уполне сознательные» письма о величии советского флота, о нерушимости надёжно охраняемых Комаром границ и об умопомрачительной красоте дальних стран и морей, которые, впрочем, и в подмётки не годятся нашему «самому синему», что моя матушка как-то осторожно заметила, не под диктовку ли политрука пишет эти замечательные письма весь доблестный подводный экипаж. Я с негодованием пререкла: «Наш Комар никогда, ни под какую диктовку...»

После армии Славка закончил знаменитый на весь Союз судостроительный институт и очень быстро стал главным инженером не менее знаменитого, несмотря на «закрытость», предприятия, выпускавшего что-то такое секретное для этих самых подлодок. «Ну и выпивает, конечно, не без этого», – с непонятной гордостью сообщала Лидия Васильевна. А в перестройку Славкин сверхсекретный «ящик» мгновенно развалился на множество подозрительных кооперативчиков, и я в редкие приезды на родину боялась спросить нашу вдруг резко постаревшую учительницу, где теперь работает и как «выпивает» Комар. Потому что наш Славка никогда, ни в какие кооперативы...

Помню, тогда же, на заре перестройки мы с мамой пошли в гости к бабушке и дедушке. Старое кладбище нашего южного города оказалось поделённым колючей проволокой, как Славкин «ящик», на участки, иные из которых даже охранялись зачем-то собаками, и потому мы здорово поплутали, пробираясь к могиле деда, умершего в шестьдесят втором.

Мы бродили по огромному полю, уставленному такими великолепными памятниками, что было ясно: их могли возвести только осиротевшие родители, у которых совсем ничего не осталось на свете, кроме этого клочка земли. С каждого памятника смотрело юное лицо в «битловских» вихрах и я, ничего не понимая, как в бреду читала: «студент Таврического университета, родился в пятьдесят восьмом (или в пятьдесят девятом – о, Господи, это же мой год!), трагически погиб в восьмидесятом, восемьдесят первом, восемьдесят втором...»

– Мама, что это?!

– Афганистан, – тихо и твёрдо, как пароль, выговорила мама.

Как же я могла забыть! В Таврическом университете не было военной кафедры.

Думаю, моих одноклассников уберегла от этого кладбища та же Лидия Васильевна. Коренная москвичка, приехавшая к нам с мужем-военным врачом (вверенный его руководству госпиталь до сих пор называется «КЧФ», что значит «Краснознаменный Черноморский Флот»), она класса с пятого заклинала нас, что учиться можно только в Москве. Мы и разбрелись почти всем классом по московским, преимущественно техническим вузам – Лидия Васильевна преподавала математику. Мишка Пестерев даже покорила мехмат, но был изгнан с четвертого курса за вздорный характер и, возможно, чрезмерное увлечение КСП. Как же, и в нашем

институте на концертах Никитиных и Мирзаяна в переполненной Большой физической аудитории девочки валились в обморок от духоты, а в двери всё напирало и напирало... Ну и Пестерев тоже, конечно, загремел. Слякотным мартовским днём восемьдесят первого мы с двумя одноклассницами ехали на электричке в Наро-Фоминск – Мишка обретался в Кантемировской дивизии. Наш служивый величаво принял торт и пустился в тонкие намёки, что, мол, они «с мужиками» намерены подать рапорт о переводе сами понимаете куда, потому что надо испытать себя в настоящем деле, а то «так надоело это всё» и прочая, прочая... Пестерев тоже был диссидентствующий. Мы дружно верещали: «С ума сошёл, Пестер! И не думай!» И – обошлось. Не молитвами ли Лидии Васильевны?

А через пару лет после той баснословно сухой и тёплой осени, когда мы пели у костра на озере Дальнем, будущий подмосковный губернатор выводил наши войска из Афганистана и все, глядя в телевизор, радовались как-то тревожно и смутно. А ещё примерно через три года после окончания войны и ровно через месяц после того, как не стало моей страны, я летела в полупустом самолёте над перевалами Гиндукуша в командировку в Бомбей. С такой высоты жёлто-серые складчатые афганские горы казались натруженными ступнями добродушного старого слона. И я вспомнила, что почти такими же тяжёлыми жёлтыми складками сползает в самое лучшее на свете море у других наших бывших

границ мыс Меганом.

Вот, собственно, и весь Афган в моей жизни. Разве вот ещё что. В девяносто восьмом я развелась с Олегом, и сразу же возник какой-то идиотский раздражающий роман с бесконечным висением на телефоне и тягучими разговорами о смысле жизни и о том, что «нехорошо человеку быть одному». Подруги говорили: «Ты, что?! Через год – сорок, последний шанс». Некстати вспоминалось из михалковской «Родни»: одинокая женщина – это неприлично! Я решила посоветоваться с никогда не бывшей замужем подругой.

– Галя, как удаётся тебе сохранять такое спокойствие? Ведь нехорошо человеку быть одному, а особенно женщине, и в наше время, и вообще...

– Таня, ну о чем ты думаешь! – как-то застенчиво и без пафоса сказала моя обычно бескомпромиссная Галина. – Мы же русские женщины, а России всегда приходилось воевать... Наши женихи в Афганистане погибли.

И тогда на какое-то пронзительное, исполненное высокого смысла мгновение я превратилась из взбалмошной разведённой дамочки в спокойную вдову студента Таврического университета, лежащего на перегороженном колючкой кладбище родного города, на самом краю уже нового и чужого государства.

«Зачем же так, Кармаль Бабрак?..»

Индийский океан? Он разочаровал меня: блёкло-синяя настороженная гладь врезалась у берега в хищные чёрные

камни. «Но ведь здесь, в Бомбее – утешала я себя – это и не океан ещё, а Аравийское море». И только опрокинутый на спинку, рожками вверх, мусульманский месяц вполне оправдал мои ожидания.

Март 2007 г.

Дом Ханжонкова

Б. М. Арсеньеву

Город, в котором я родилась в доме дореволюционной постройки с лепными вазами, ионическими колоннами и надписью над венецианским окном «Городской родильный домъ имени П. Ф. Соболева»... Город, в котором я выросла на улице Чехова, бывшей Виноградной... В двухэтажном доме начала двадцатого века, в котором получил квартиру мой дед, приехавший из Киева в тридцать седьмом году для работы в Институте виноделия и виноградарства... Город, где до сих пор живёт моя мама и где уже выросли дети моих одноклассников... Город этот... Нет, я не буду утверждать, что он лучший на земле. Но город мой не похож ни на один другой город мира, у него особенное, неповторимое, мгновенно узнаваемое лицо. С этим-то вы не поспорите. Где бы ни спросили меня, откуда я родом, и я, нарочно помедлив, небрежно бросала-выдыхала короткое имя моего города, всегда обязательно раздавался восторженный вопль «О-о-о!» Последние лет пятнадцать мне чудится в этом возгласе нота сочувствия. Но я знаю, что у воскликнувшего «О-о-о!», так же как у меня, немедленно возникает перед глазами единственная в мире набережная и чёткий силуэт уходящего в море мыса, грузный и точный полёт белогрудых птиц, и огром-

ные старые платаны, и чаша пепельно-сиреневых гор, и розовая с золотом часовня на холме... На том самом Поликуровском холме, который после шторма увидели греческие мореходы и радостно закричали: «Ялос! Берег!» Вот я и назвала имя моего города, а вы уже, наверное, его угадали, и я могу, как избежавшие кораблекрушения античные греки, счастливо выдохнуть: «Ялта!»

Я нимало не удивлялась, когда с конца восьмидесятых годов по приезде в родной город меня встречали плакаты на здании библиотеки имени Чехова, извещавшие о «днях Ханжонкова в Ялте». Ну и что, и у нас в Москве на площади Маяковского имеется «Дом Ханжонкова». Кино мало интересовало меня, с детства было чем-то будничным, хотя и приятным, звуки его через день доносились с летней площадки санатория «Киев», что напротив нашего дома. Сколько фильмов снималось у нас! А помните, в «Джентльменах удачи» герой Крамарова говорит: «... и в Ялту!»? Мы как раз были классе в пятом, и после этой фразы кинотеатр «Сатурн» непременно оглашался радостным ржанием. А сам Крамаров приходил в гости к нашей соседке тётё Гале, она работала фотографом на круизных теплоходах... Школа наша, расположенная рядом с Ялтинской киностудией, была непрерывно посещаемая среднего возраста тётеньками, какими-нибудь помрежами. Школьников набирали для участия в масовках. А я в четвёртом классе даже удостоилась приглашения на роль в фильме «Тренер», но проигнорировала угово-

ры киношной тётки – очевидно, у меня были тогда дела поважней. Кстати, когда теперь, спустя тридцать лет, я называю ялтинцам номер нашей школы, тоже раздается уважительное «О-о-о!» А со старых фотографий смотрят на меня мои одноклассники – неповторимые, незабываемые рожицы. Вот мы в первом классе, в четвертом, в восьмом и, наконец – затаив дыхание – в десятом... Кое-кого нет в живых, но уж те, кто живы, поверьте, не изменились. Просто наконец добравшиеся до нас гримёры с киностудии зачем-то раскрасили юные лица тусклым гримом, натянули на головы седоватые парики, а из глаз, из души смотрят те же смеющиеся Наташка, Толик, Маня, Мишка, Володя... Голубые весёлые глаза Наташки, серые и упрямые – Мишки Пестерева, хитро-зелёные – когда-то рыжей Мани, Маринки Заборской, огромные даже без дальнозорких очков и жёлтые как у совы – Толика Волкова и глубоко посаженные, не разберёшь какого цвета – Володьки... Мы, одноклассники, кто нашёлся, приехали к Наташке Сумовой, Сумке, в Алупку.

С Сумкой мы дружим с шестого класса. Я помню, как это начиналось. В сентябре нас водили на физкультуру на лодочную станцию. Мы с Наташкой были освобождены и гуляли в Приморском парке. Вижу, как Сумка задумчиво тянет вдоль берега бассейна – макета Чёрного моря – стащеный с шеи пионерский галстук. Мы о чём-то рассуждаем, бредём в районе Констанцы...

– Как ты помнишь?! – изумляется Сумка. – А я этого не

помню!

Что ж, это нормально. Наташка помнит много такого, чего не удержала моя память. Каждый из нас несёт по жизни драгоценную россыпь этих кусочков, ярких разноцветных камешков, спрятав их где-то там за пазухой, у сердца, а сейчас мы вываливаем всё это на деревянный стол в Сумкиной кипарисовой беседке. Стол и без того щедро заставлен картонными пакетами с «Каберне», персиками, виноградом и ворохом наших школьных, чёрно-белых фотографий. Я смотрю в голубые Наташкины глаза и с радостью вижу вокруг зрачков желтоватые пятнышки. Я помню их! Помню с шестого класса!

– А ты знала, что я в девятом классе была влюблена в Толика, как и все наши девчонки? – обращаюсь я к Наташе.

– Ещё бы! – отзывается она, а Пестер и сам Толик смотрят с сомнением.

– Не надо, – говорит Маня, – Лариска Кропачёва была влюблена в Таджики.

Таджик, Володька Тужиков, безучастно попивает зелёный чай. Он совершенный англичанин и джентльмен, всегда собран, невозмутим, не пьёт, не курит, играет в теннис...

– Да, – вспоминаю я, – и Леночка Энгельгардт, кажется, тоже в Таджикиа... А кто же ещё в Толика? Наверно, только я, а мне казалось, что весь класс...

Ребята смеются. Я не буду им говорить, что вообще-то Толик Волкин – моя вторая любовь. Прозвище его – Вол-

кин или даже Тоневолкин (то-не-Волкин) – явилось, видимо, результатом какой-то подзабытой истории. Зато я помню другую историю, весьма характерную для Волкина. Восьмой класс, математика.

– Волков, к доске!

Тоневолкин нехотя подымается: – Я не учил!

– Толя! – всплёскивает руками Лидия Васильевна, – Что ты не учил?!

– Ничего!

– ???

– Ну, что вы задавали...

– Толя! Я ничего не задавала!

– Всё равно не учил. Ставьте «два», Лидия Васильевна, – басит Тоневолкин, дружелюбно глядя на учительницу.

– Иди к доске, пиши условие...

Задача не из лёгких решена за минуту.

– Толя, садись. Пять!

Волкин, пожимая плечами, недовольно лезет за свой стол, на криво улыбающейся физиономии и даже, кажется, в оттопыренных ушах – выражение оскорблённого достоинства.

Кто моя первая любовь? Копия микеланджеловского Давида в Пушкинском музее. В первый раз я приехала в Москву после восьмого класса по маминой учительской путёвке и сразу влюбилась в обоих – в Москву и в Давида. Нет, куда там мраморному изваянию до нашего Толика – ялтинского парня, ласточкой слетавшего в море с пятиметровой высо-

ты солярия... Я влюбилась только в выражение лица этого мальчишки, моего ровесника и будущего царя иудейского. В его лёгкую, счастливую, чуть надменную улыбку юности. А голова старого глупого Голиафа у ног – так, пустяшный, не стоящий упоминания эпизод, уже из прошлого. Вот дальше, в будущем будет настоящее, будет счастье...

Счастья в нашей жизни было много. Помнится, нас заставляли писать сочинения на довольно дурацкую тему «Что такое счастье». И фильмы об этом снимали... Тема-то идиотская, и мы, не желая выдавать сокровенного, отделялись какими-то штампами. Но если бы не эти сочинения, разве запомнили бы мы на всю жизнь сине-зелёную полудённую воду и жар от каменного пирса на полудиком тогда пляже, именуемом «батареей»? И то, как мы серьёзно и вдохновенно обдирали друг у друга сгоревшую кожу с лупящихся носов, чрезвычайно напоминая макак, ищущих друг у друга насекомых... А ещё мы целыми днями шлёпали по горячим камням или доскам солярия просоленными от внезапно набежавшей волны и иногда роняемыми в море картами, играли в «дурака» и «кинга», умудряясь одновременно рассуждать о смысле жизни... Мальчишки с воплем «Головоногого!» сигали с солярия в воду, и солнце жарило во все лопатки... А я думала: «Вот, запомни – это и есть счастье!» Счастье было разлито в упоительном крымском воздухе и оглушительном звоне цикад, в шуршании высохших колючих трав на сбегаящих с обрыва, розово-загорелых как мы

тропинках... В прозрачных зеленоватых виноградинах, свисающих с жердей на холмах за «батареей»... В белом сухом вине, которое мы начали пить, возможно, рановато, класса с седьмого, а по мне – так в самый раз. Похоже, примерно так же считали наши родители – медики, строители, учителя, виноделы...

Помню, была традиция – в августе ездили на целый день купаться за Симеиз, в Голубой Залив. И хотя вели мы себя довольно смиренно, мероприятие почему-то называлось «поехать на дебош». Может быть потому, что в Голубом Заливе, ближе к посёлку Качивели работал профилакторий для алкоголиков и это, конечно, вызывало много веселья. Закупали «Ркацители», великолепную, почему-то почти исчезнувшую теперь воду «Ялтинскую», баклажанную икру в железных банках, конечно, хлеб, помидоры... Основной едой были мидии, а главной их добытчицей – Наташка Сумова, жившая в Алупке и потому нырявшая не то что бы лучше, а как-то привычнее нас, ялтинских. Я-то вообще не умела дышать через трубку (до сих пор не умею!) и стояла посреди моря на камне с полиэтиленовым пакетом в руках. Наташка выныривала с пригоршнями мидий, распластывала выгоревшие соломенные волосы по изумрудной прозрачной глади... Выгружая в пакет обросшие бурыми водорослями раковины, похожие на сомкнутые русалочки очи, не забывала попрекнуть меня, показывая обломанный покрашенный ноготь... Вы, конечно, знаете, как жарят мидий? На ржавом

железном листе, закреплённом меж камней. Такой лист вы обязательно найдёте где-нибудь среди скал. Для костра собирают сухую траву. Съев оранжевое мидиево тельце, надо обязательно втянуть из раковины немного сока, смешанного с морской водой, и только потом уже можно пить сухое... После вина полагалось для протрезвления «мерить глубину» – многократно погружаться в восхитительно-прохладную синь, казавшуюся твёрдой как кристалл, и блаженно выныривать на уже клонящееся к закату мягкое солнце. За день мы обгорали до багровеющей черноты, а как-то ближе к вечеру я повалилась со скалы, на которой сидела, ребята хватили за руки меня, друг друга... В общем, мы падали в пропасть в связке, как брейгелевские слепцы... Домой я явилась с разодранным от подмышки до ступни боком.

– Ах, вы пили водку?! – всполошилась мама.

– Не водку, а сухое вино, – отвечаю гордо.

– Ах, это же совсем другое дело! Сухое вино – это прекрасно!

– Ну, какая разница, что они пили, – смеялся папа, – если напились так, что падали со скалы!

Нет, Володька Тужиков с нами тогда не ездил. Они с Пестеревым всё больше по олимпиадам, математическим, физическим... Только какой же он англичанин, наш Таджики, если вот сейчас он, как и я, с наслаждением загребаёт «вьетнамками» по раскалённому асфальту и говорит Мишке с этой неповторимой ялтинской интонацией, как бы чуть

небрежно, вразтяжечку, с придыханием:

– Ну, шо такое, Пестер? Почему обязательно здесь курить? Смотри, какая секвойя! В Ливадийском парке засохла, в Массандре засохла, а здесь, у Наташки, у самого моря...

И мы все восхищаемся секвойей, как будто вырастила её сама Наташка. Но ведь это и вправду Сумкина, а значит и наша секвойя, как и всё здесь – наше, мы – местные.

«При чём здесь Ханжонков?» – спросите вы. Года два назад я увидела на доме на улице Боткинской чёрную мемориальную доску:

«В этом доме с 1919 по 1945 жил основоположник
отечественной кинематографии
А. А. Ханжонков»

Надпись потрясла меня. Понимаете, я выросла в соседнем дворе, а сюда, к Ханжонкову пришла, извините, с мусорным ведром. Обитатели наших дворов выбрасывают мусор в баки за гостиницей «Украина» – угол Боткинской и Чехова, знаете? На обветшавшей гостинице, в которой теперь никто не живёт, тоже доска:

«Памятник архитектуры
Здание построено в 1902 году
Архитектор О. Е. Вагенер
Охраняется государством»

Да, великолепный русский модерн. Таких «модерновых» домов, хотя и без досок, предостаточно в нашем районе. А если уж не модерн, то непременно «во вкусе татарской из-

бы», то есть с высоченными, отнюдь не татарскими окнами и в зубчатом кружеве опоясывающих весь дом деревянных веранд, с которыми давно переплелись-сроднились глицинии. Таким был и наш дом с коммуналками до капитального ремонта 1970 года. Тогда первым делом спилили, казалось, отчаянно сопротивлявшуюся глицинию. Она обречённо швырнула на асфальт свои стручки – замшевые чехольчики с пуговицами-семенами. А вместо веранды устроили отдельный вход с лестницей, кухню, прихожую, туалет. Я, помнится, болела, и одноклассницы пришли меня навестить. Ключа не было, и я решила впустить девчонок через окно туалета, выходящее на лестницу. До сих пор стоит у меня перед глазами внезапно побелевшее треугольное Манино личико с ярко проступившими веснушками. На Манию валится почти трёхметровая оконная рама с наспех покрашенными синими стёклами. Общими усилиями Маринку спасли от рамы, а раму – от каменных ступеней, её бережно прислонили к стеночке. «Замечательный ремонт! – веселились пришедшие с работы родители. – Десятилетняя девочка нечаянно высадила раму!»

...И всё это было, кажется, ещё совсем недавно, когда были молоды родители, приезжал из Киева мамин друг детства с семьёй, и мы все ходили в «Украину» обедать.

– Наденька, будьте добры, – обращалась мама к официантке, нашей соседке.

Муж Нади, музыкант ресторана «Украина», настраивал в

оркестре гитару, другая работающая здесь соседка, Валя, выглядывала из посудомоечной...

Вы ведь знаете ялтинские дворы? С другой стороны от Боткинской, как раз там, где устроил Ханжонков своё кинотеатле, к нашему двору примыкает проходной двор номер тринадцать. На одном из зданий «проходного тринадцатого» пару лет назад тоже была беломраморная доска с надписью, о том, что то ли в 1913, то ли в 1907 году этот дом и, естественно, его владельца такого-то посетил государь-император. Я поленилась переписать эту надпись, и вот доска исчезла. Будем надеяться – временно, на реставрацию? А сам дом обнесён забором из сетки-рабицы, а аккуратный круглый бассейн перед домом исчез или скрыт другим высоченным глухим забором гадкого коричневого цвета, табличка на котором не поминает Государя, а угрожает злыми собаками. Во времена моего детства не было в Ялте ни заборов, ни злых собак. Зато почти в каждом дворе нашего района были такие маленькие мелкие бассейны. Должно быть, во времена дач и вилл в них стояла задумчивая вода и подрагивали плоские блюдечки листьев кувшинок, в шестидесятые годы в них иногда устраивали клумбы. Мне же их гипсовые днища представлялись изначально предназначенными летом быть устланными рыжеватой кипарисовой хвоей, а зимой – жёлтыми с зелёными и красными прожилками листьями платанов и клёнов. Дворы отделялись друг от друга не заборами, а дровяными сараями – отопление-то было печное. У нас до

сих пор сохранилась огромная печь-голландка. В тихие и сухие декабрьские сумерки мама колола у сарая дрова, я тащила их по семиступенчатой лесенке в квартиру, папа приносил вёдра с углём. Из парка санатория «Киев» доносилось глухое воронье карканье, а в неподвижном воздухе синеватым дымком висело молчаливое напоминание о зиме настоящей, о никогда не виданной мною среднерусской природе, о насквозь продуваемых светлых берёзовых рощах и лимонных кустодиевских закатах, которые я полюбила по книгам верно и навсегда, вслед за чеховскими сёстрами – «В Москву! В Москву!» И только в этой любви не ошиблась...

Так вот, и наш двор отделялся от дома Ханжонкова чередой сараев и ещё одним обширным двором, который назывался «морским», потому что жили здесь работники порта. Дома «морского» двора в сравнении с остальными были, можно сказать, новыми, постройки, наверное, пятидесятых или конца сороковых годов. В этом дворе сорок пять лет назад я познакомилась с Пушком. Мне было три года, ему – три месяца. Мы тогда долго смотрели друг на друга почти одинаковыми карими глазами – человек и собака, щенок лайки и маленькая девочка. А потом дружили семнадцать лет. Но, как говорится, «это уже совсем другая история» и другой рассказ. Я назову его «Друг детства». А вот фотография у дома в «морском» дворе, где жила моя подружка Оля. Год шестьдесят четвёртый или шестьдесят пятый. Нам по пять-шесть лет. Я в короткой черной шубе и вязаной шапке с от-

воротом, худенькая Оля – в пальтишке и в беретике. Мы обе в ботинках и безобразных шароварах «с начёсом», стоим, щуримся на мартовском солнце, заливающим Олины окна, ствол старой, напоминающей удава глицинии, клумбу и сараи, за которыми Дом Ханжонкова – рядом, в пятнадцати метрах.

С мусорным ведром в руке я подошла к Дому. Вплотную к нему, почти закрывая мемориальную доску, стоял бежевого цвета прицепной фургон, в нём жили. В свой двор я вернулась через «морской», обогнув страшного многоэтажного жилого монстра, возведённого строительной фирмой “Consol” на месте курортной столовки, когда-то по-домашнему шумевшей в старой кипарисовой аллее. Эти вырубленные теперь благородные великаны были видны из наших окон. У нас в октябре бывает ветрено и жарко, а море всегда необыкновенно глубокого и свежего синего цвета с лёгкими белыми барашками у горизонта. Как точно будет написано об этом впоследствии, «нынче ветрено и волны с перехлёстом...». Небо было почти такой же густой синевы, но казалось мне оранжевым, наверное, от щедро разлитого солнца и выжженных рыжих холмов, отражённых в море и небе. В такие дни меня не выпускали во двор: «Распотеешь! Продует!» Бабушка важно и многозначительно изрекала:

– Вчера был ветер, сегодня ветер и завтра будет ветер!

А забежавшая соседка мелко трясла головой: «Да! Да! Да!», как будто бабушка открыла ей невесть какую истину. Я

с тоской смотрела в окно на кипарисы, слегка шевелившиеся золотыми ветвями, и они казались мне товарищами и даже сообщниками, соучастниками в нелёгком деле жизни. И вот их нет, и только два немолодых печальных стража, оставшиеся от того стройного воинства, охраняют вход в Дом Ханжонкова да тонкая прямая магнолия удивлённо и нелепо торчит посреди асфальтового двора на фоне вывески «Штаб Партии регионов» на первом этаже «консольского» монстра. Вот уж воистину пришли и к нам каменные джунгли! Ствол магнолии длинный, голый, и только на самой верхушке застыли плотные кожанные листья. В детстве мы делали из них индейское снаряжение – пояса, шапки с опереньем, помните?

По всему периметру «монстра» ручьями текло из кондиционеров. Кондиционеры – как-то не по-ялтински это. Но у подъездов на белых пластмассовых стульях всё равно сидели старушки, прожившие жизнь во дворах под кипарисами, грецкими орехами и разлапистыми инжирами. Помню, году в восемьдесят девятом в нашем дворе появилась специально направленная в Ялту «чернобыльская» отдыхающая – украинская бабушка из тех, что никогда бы не выехала за пределы своего села, если бы не чернобыльское несчастье.

– Та що це таке? – дивилась она на какие-то дворовые пальмы. – Йисты його, чи шо?

– Нет, это декоративное, – силилась объяснить соседка, тётя Катя «верхняя».

– Чого?

– Для красоты.

– Чого? Та на що воно треба?! Та б у нас його давно порубали б, та б вышенок насадили. . .

Сын тётки Кати, Юра, инженер ЖЭКа, на какой-то стройке вытащил прямо из ковша экскаватора молодой грецкий орех и посадил во дворе. Орешек рос, входил в силу и собирался плодоносить, но повадилась белка обгрызать завязи, что Юру очень огорчало.

– Юра! Белка пришла! – хохотали соседи.

Озабоченный Юрий Михайлович спускался со второго этажа, бросал в белку камешки. Она, впрочем, не обращала на него ни малейшего внимания, деловито перебежала с кипариса на крышу сарая, легкой пружинкой перелетала на орех. . . Потом тётка Катя умерла, Юра куда-то переехал, а грецкий орех немедленно спилили, как и все наши многочисленные сливы. Сливы мы без всякого для себя вреда ели исключительно зелёными, так что сводило скулы, и я до сих пор не понимаю, как можно эти плоды употреблять в спелом виде. Сосед и ровесник Серёжка Иванов, с которым мы в школе угодили за одну последнюю парту, в первом классе солидно и мечтательно говорил мне как о чём-то дорогом и безвозвратно ушедшем:

– А помнишь, как мы в детстве зелёных слив объелись?

Правда, в «морском» дворе на месте спиленных деревьев моего детства теперь чудом пробивается у стенки каменного гаража низенький инжир, молодой, но уже с поспевающими

плодами, развешанными равномерно, как ёлочные игрушки. Я потрогала его дружелюбно растопыренные тёплые пятерни и решила, что имею право на один сизый, как бы припорошенный пылью инжирчик. Рыхлая, отсвечивающая фиолетовым алая мякоть обволокла губы и язык терпкой сладостью, а белый вязкий сок из сломанной плодоножки надолго склеил пальцы, и почему-то так не хотелось их отмывать...

В конце августа и в сентябре наш двор бывает усыпан сухими цветками акации. Раньше акаций было много, высоких, раскидистых и старых, почти столетних. Они даже образовали во дворе небольшую тенистую рощицу, называемую нами, детьми, «полянкой» и служившую местом для игр и закапывания «секретиков». Теперь осталась одна только «наша» акация у самого крыльца. В продолжение последних десяти лет мама каждый год озабоченно говорит, что надо бы спилить акацию, а то ведь «подохнет и упадёт на голову», но тут же добродушно добавляет: «А может, я раньше подохну» и велит нам поливать старую дуру, ежегодно, как ни в чём не бывало, выпускающую над самой крышей нежно-зелёные овальные листочки. Во времена моего детства в «морском» дворе огромные шершаволистые шелковицы всё лето роняли на асфальт чернильные кляксы. А осенью у Ханжонкова с гулким стуком падали на крыши сараев каштаны, завёрнутые в щетинистые шкурки цвета июньской зелени. Шкурки лопались, вкусно чмокая и обнажая глянцево-шоколадные каштанчики с матовым кремовым бочком. Мы для ка-

ких-то нужд собирали их, меняли, вели целые каштановые хозяйства...

Улица Пушкинская тоже вся каштановая, вперемешку с платанами. Вернее сказать, это не улица, а бульвар напротив нашей школы и вдоль речки, бегущей из водопада Учан-Су и тянущей за собой неестественно густые и яркие космы водяных растений. На ней-то, на Пушкинской, я и увидела объявление о ханжонковском вечере. 12 августа 2007 года. Сегодня. Значит, для меня.

В тёмном и душноватом, несмотря на настежь распахнутые двери, клубе симпатичный киновед Борис Михайлович Арсеньев рассказывал для меня и ещё полутора-двух десятков человек об Александре Алексеевиче Ханжонкове, отставном казачьем офицере, влюблённом в синематограф. О его друге и соратнике, режиссёре Евгении Францевиче Бауэре, сыне обрусевшего австрийца. В роковом семнадцатом режиссёра отпели в ялтинском храме Александра Невского и погребли на «новом» Ауткинском кладбище. Теперь это кладбище называется «старым», там лежат мои бабушка и дед и наш одноклассник Игорь Раскатов, могилу которого только вчера искали мы с Сашкой Семухиным, но не нашли. И могилу Евгения Францевича тоже пока найти не удалось. А ещё нам показали последние два фильма, которые успел снять Бауэр в 1917 году в Ялте. Просили принять участие в конкурсе на проект или хотя бы идею памятника А. А. Ханжонкову. Я думаю, Александр Алексеевич когда-нибудь обя-

зательно будет сидеть у входа в Ялтинскую киностудию около нашей школы. Нет, он ещё не прикован артритом к инвалидной коляске, просто зашёл в своё киноателье посмотреть, как снимается фильма. На низеньком столике перед продюсером фигурка его Пегаса, фирменного знака акционерного общества «Ханжонков и К^о». Кажется, что крылатый конёк сейчас взлетит, выпорхнет, как голубь, из сильных, бережных и щедро распахнутых ладоней Александра Алексеевича... У ног Ханжонкова старинный киносъёмочный аппарат, а за спиной – мгновенно узнаваемый, неповторимый крымский силуэт: скала Парус или Дива, Ласточкино гнездо или Медведь-гора. Нет, лучше просто Поликуровский холм! На фоне холма – переливающаяся в морских и солнечных бликах фигура женщины вполоборота в огромной шляпе – Вера Холодная. Кажется, она тоже сейчас полетит, заскользит вдоль моря, как Бегущая по волнам, как наша единственная и непостижимая страна, страна воинов и очарованных странников, мечтателей, первопроходцев и мореходов, страна, которую мы потеряли тогда, в семнадцатом, а потом в страшной войне чудом обрели вновь, и теперь снова теряем... Но нет конца этой таинственной и высокой судьбе, этой извилистой, тяжкой и всё равно счастливой, счастливой, бесконечно счастливой дороге...

Будет такой памятник возле киностудии и моей школы. Такой или даже лучше. Верно, Борис Михайлович?

Но ведь я не рассказала вам самого главного – как я нашла

Дом Ханжонкова во дворе, где прошло моё детство.

Когда-то давным-давно была у меня «летняя» подруга Вика. Она приезжала на лето к бабушке в Ялту. Бабушка Вики жила в такой же дореволюционной, двухэтажной, теперь многоквартирной коммунальной вилле, как почти все дома нашего района. Мы с Викторией бегали по тёмной деревянной лестнице, уставленной горшками с пальмами, фикусами и гигантскими алоэ, чьи змеевидные отростки расплзались по широким лестничным подоконникам, как тесто из квашни. Почему-то я отчётливо запомнила тяжёлый душный запах этой лестницы. Запах, казалось мне, старости, запах помнивших Надсона, интеллигентных ялтинских старух под полотняными изжёлта-белыми зонтиками. Одна такая очень пожилая дама жаловалась маме на дворовых собак, обижавших её пёсика:

– Представьте, некая собачонка Лада...

Конечно, конечно, про старушек и Надсона я додумала гораздо позднее, а тогда была уверена, что запах исходит от громадного фикуса в облезло-коричневой деревянной кадке. Потом это стало почти наваждением. В Таиланде, в Индии, во Вьетнаме увидев такой привольно растущий под тропическим небом фикус, я всякий раз на мгновение обоняю запах моего детства, бросаюсь к фикусу... Конечно, он ничем не пахнет. Я попыталась войти в этот дом спустя сорок с лишним лет. Увы! Весь он – в пристройках, застеклённых верандочках, серебристых трубах газового отопления, «ев-

роокнах» и прочей столь необходимой для жизни ерунде, из которой вдруг неожиданно выглядывает старая лепнина, – не пустил меня. Всё заборы да закрытые «на код» калитки. Была открыта только одна дверь в подъезд рядом с двором «шестой» школы. Я было сунулась туда и устыдилась: никакой лестницы – прямо за дверью располагалась кухня с раковиной, плитой, газовыми и водяными счётчиками. Я поспешно ретировалась: не объяснишь ведь людям, что я ищу у них в кухне даже не прошлогодний снег – запах сорокалетней давности! Да ещё почему-то с пластмассовым мусорным ведром в руках! И с блокнотом в кармане халата! Но ведь такая или примерно такая лестница могла сохраниться в другом подобном доме. Так я забрела на Боткинскую к Дому Ханжонкова. Войти внутрь, однако, тоже не удалось. К бежевому прищепчику была привязана гладкошерстная тупорылая собака бойцовской породы.

Я побрела вверх по Боткинской. Через дорогу почти сразу нашёлся нужный мне дом. Его проходной двор, ведущий к поликлинике, был мне хорошо известен. К счастью, сейчас двор был торжественен и пуст. В нём не было ничего, кроме мрачноватого платана и валяющихся на клумбе остатков каменного грота, когда-то стоявшего, судя по всему, над бассейном. В серых развалинах угадывался гривастый лев. И дом был подстать – серьёзный, величественный, в три этажа в отличие от подавляющего большинства двухэтажных ялтинских вилл. Он совершенно не походил на другие ялтин-

ские дома, зачем-то оштукатуренные как наш, например, по-
верх намертво пригнанных друг к другу глыб серого крым-
ского камня. Это действительно был настоящий, старый за-
мок. Правда, сбоку к нему лепился легкомысленный балкон-
чик с голубенькими занавесочками, а дальше за изящным
бамбуковым забором жил летней жизнью уже типичный ял-
тинский двор с сарайчиками, хромыми стульями, столом, на-
крытым клеёнкой, за которым по вечерам режутся в «дура-
ка» и режут арбуз... И с допотопной колченогой кушеткой
или качающейся раскладушкой, на которой обязательно ва-
ляется с банкой пива голый по пояс дядька... Там на глици-
нии болтаются мокрые купальники, а на воткнутой в землю
половинке деревянных качелей лежит тоненькая девчонка в
черной майке и крошечных джинсовых шортах и задумчи-
во курит, глядя в раскинувшуюся над ней, тянущуюся к югу
роскошную крону ливанского кедра... Но это всё за домом,
за заборами, а сам замок казался необитаем. Я глупо себя
вела. Тщательно переписала в блокнот надпись на солидной,
хотя и несколько грязноватой доске:

«В этом доме в 1919 году находился первый УКОМ
комсомола.

Мемориальная доска установлена в честь 50-летия
комсомольской организации г. Ялты май 1969 г.»

Надпись касалась меня самым непосредственным обра-
зом: в мае 1969 года наш класс как раз приняли в пионеры.
Потом я слонялась вокруг замка, заглядывала во двор поли-

клиники, с удовлетворённым ялтинским патриотизмом отмечая, что здешняя секвойя ничуть не хуже алупкинской. Гладила зачем-то ствол платана и заодно сидящего на нём облезлого и пятнистого (в цвет платановой коры!) худоще-го жёлтоглазого кота. Засматривала даже в окно показавше-гося нежилым полуподвала, набитого картонными коробка-ми, и отшатнулась, наткнувшись рассеянным взглядом на вальяжно покачивающийся среди коробок широчайший, с перепугу показалось – во всё окно, женский зад в белых трусиках-«стрингах». Наконец, решила зайти в сумрачный подъезд. Деревянная лестница была! Была! Внизу, правда, слегка заваленная старыми табуретками и тазами с отвердев-шей извёсткой, но очень похожая на ту, из моего детства. Впрочем, фикусов не было и пахло жареной рыбой. Но ведь есть ещё и второй и даже третий этаж. Я поднялась и, ничего не найдя, бездумно смотрела из высокого готического окна на Дом Ханжонкова и чуть подальше – крышу моего дома в перламутровых августовских сумерках... Внезапно дверь скрипнула, и в освещённом проёме показался высокий му-жик моих лет, совершенно седой, в темноте коридора чрез-вычайно похожий на Билла Клинтона.

– Женщина, у нас не сдаётся...

– Извините, – я попятилась к лестнице, но он преградил мне дорогу.

– Вы что-то ищете?

– Да, то есть – нет... Извините...

– Но вы кого-то искали, я видел. Я в этом доме родился...

«В родильном доме имени Соболева ты родился», – чуть не брякнула я, но вместо этого покорно сказала:

– Хорошо, я объясню. Только давайте во двор выйдем, здесь жутко.

Мы вышли. Во дворе ничего не изменилось, лишь кот переместился с платана на каменного льва и высокомерно взирал оттуда круглыми глазищами с расширенными зрачками.

– Понимаете, – начала я, – я тоже родилась и выросла здесь, на Чехова...

– Лжёте. Я на Чеховке всех девчонок знал.

– Так уж и всех! – обозлилась я. – Просто вы, наверно, старше лет на пять, на нас внимания не обращали...

– И в нашей школе вы не учились, – упорствовал «Клинтон».

– Ну, шо такое, Гена?! – вдруг раздался женский крик с балкончика. – Женщина, у нас не сдаётся!

– Щас, покурю... – отмахнулся Гена. – Что вы всё-таки делали у нас во дворе? А Мурзика зачем трогали? Он лишайный...

– Ничего он не лишайный, – обиделась я за Мурзика, – он облезлый. С голодухи, наверно. Кормить кота надо.

– Он не наш, он общий, – наконец-то смутился Гена. – Но в шестой школе вы ведь не учились?

– Не училась. Зато я с Таней Французовой в одном дворе жила. Таню-то помните?

– Танечку?! Ещё бы! В одном классе... – лицо Гены просияло и вновь мгновенно омрачилось. Я знала почему. Таню убил муж много лет назад.

– Я в «двенадцатой» училась, – сказала я примирительно.

– О-о-о! В «английской»? – Гена опять просветлел. – Так ты одноклассников ищешь? Но у нас в доме, кажется, никого из «двенадцатой»...

– Да нет же!

И тут я сделала то, что должно было показаться крайне странным и даже подозрительным жене Гены, следившей за нами из-за балконной занавесочки, и Мурзику, который продолжал рассматривать нас внимательными глазами хищника, внезапно вспыхивающими зеленоватым фосфорическим блеском в быстро сгущающихся южных сумерках. Придвинувшись к Гене и зачем-то оглянувшись по сторонам, я выдохнула счастливым заговорщицким шёпотом:

– Понимаешь, я ищу своё детство!

Старый ялтынец, мой сосед и ровесник – конечно же, он понял.

Август 2007 г.

Наша бабушка лучше

Моей маме

Ольге Михайловне Яблонской

Мы с Женькой сидели на кухне и ругали бывших мужей. И свекровей. Тоже бывших, разумеется.

– Извини, но и твоя мама хороша. Мне кажется, вы бы с Игорем не развелись, если бы не она.

Женька не возражала. А что тут возразишь? Я хорошо знала её маму, Ирину Михайловну, необыкновенно шумную и активную даму. В пятидесятые, до нашего с Женькой рождения, Ирина Михайловна была, судя по всему, «тургеневской девушкой», мечтательно сидела с раскрытой книжкой в городском саду у театра имени Чехова. Мы ведь все ялтинцы – Ирина Михайловна, Женька, я и даже Женькин сын Серёжка. Женька, к возмущению Ирины Михайловны, родила Серёжку, когда училась в аспирантуре. Они с Игорем жили тогда в общежитии, и Женька приехала рожать к маме в Ялту.

– Какая безответственность! – говорила мне Ирина Михайловна. – Юля, я полагала, что вы разумный человек, почему вы не удержали Евгению от этого дикого шага? Ведь это преступно по отношению к ребёнку!

Сама Ирина Михайловна отнеслась к деторождению бо-

лее чем ответственно: родила Женьку в тридцать пять лет, да и то, кажется, только потому, что вняла мольбам Анатолия Сергеевича, Женькиного папы.

Они были настоящими ялтинцами, Женькины родители, настоящими крымчанами, хотя Анатолий Сергеевич приехал в Крым только после войны, в сорок шестом, поступать в институт. А Ирина Михайловна жила в Ялте с тридцать восьмого года, училась вместе с будущим мужем в том же Крымском сельскохозяйственном институте и знала Крым, «как свои пять пальцев» – главным образом потому, что после института ей, молоденькой и бездетной преподавательнице техникума, поручали организовывать для студентов сельскохозяйственную практику. Вот и пришлось «тургеневской девушке» мотаться на «полуторках», а иногда и трястись на телегах по самым отдалённым степным колхозам.

Анатолия Сергеевича распределили в колхоз на северо-западе полуострова, в Черноморском районе.

– Там ведь одни солончаки, – рассказывал он нам с Женькой, – а у меня специальность «виноделие и виноградарство». Ира, ты помнишь, у нас курсовая была, «Производство шампанских вин»?

Ирина Михайловна не помнила, хотя в своё время год отработала дегустатором в «Магараче», Всесоюзном Институте виноградарства и виноделия. Больше года работать дегустатором нельзя – сопьёшься. А дело-то, в общем, нехитрое – не наука, а скорее, искусство. Анатолий Сергеевич быстро

научил Женьку определять букет вина, вкус, сахаристость, ещё какие-то параметры.

Почти каждый год Женькины родители брали «учительские» путёвки в техникуме, где Ирина Михайловна преподавала биологию. Ездили, например, на родину родителей Ирины Михайловны в Молдавию, по Волге, на Кавказ... Позже, когда мы с Женькой уже учились в институте, Анатолий Сергеевич и Ирина Михайловна плавали на теплоходе по Енисею и Лене. Все удивлялись – как это вы из Ялты на север отдыхать, зачем? А они, наверное, любили север любовью южан. Анатолий Сергеевич тоже был с юга, из Ростовской области. Но, конечно, лучшим местом на Земле считался Крым.

Мне казалось, что Анатолий Сергеевич знает в Крыму не только каждый колхоз, но и каждый камень, каждую тропку в горах. Мои-то родители приехали в Ялту в пятьдесят восьмом, по распределению. Папа хорошо знал только Южный берег, он занимался строительством дамб для укрепления побережья, а мама сидела за кульманом в квадратном, выложенном белыми плитами здании «Ялтаспецстрой».

В том далёком пятидесятом, Анатолия Сергеевича с миром отпустили из колхоза в Черноморском районе.

– Вы винодел? Очень хорошо, мы тут как раз виноградник собираемся посадить, – принялся рассказывать председатель.

– Не вырастет, у вас здесь и картошка еле растёт.

– Ну, зачем же вы так говорите?

– Научили, вот и говорю.

После так и не состоявшегося дебюта агронома Анатолий Сергеевич поступил в Симферополе в аспирантуру. Тогда каждое лето в экспедицию по Крыму отправлялись молодые ботаники, зоологи, географы, геологи, археологи, этнографы... А вечером у костра сотрудники разных отделений Крымской академии наук рассказывали друг другу всё, что ещё удалось найти, узнать о любимом полуострове. Женькин папа всё помнил и хранил, как некий завет. Вот только разговорить его было нелегко. Может быть потому, что уж очень разговорчивой и по-южному громкоголосой была Ирина Михайловна.

– Толя, Толя! – слышны были крики ещё на подходе к их квартире, на первом этаже старого ялтинского дома, в шумном дворе с бельём на верёвках, протянутых от отрешённых тёмноликих кипарисов к раскидистым разбитным тёткам-шелковицам. Так Ирина Михайловна буднично общалась с мужем.

Серёжка до пяти лет жил у бабушки и дедушки. Долго не говорил. Врачи сказали, что со слухом и прочим развитием всё нормально.

– Может, он слышит мало слов? – предположила Женька.

– Звуков достаточно! – отрезал Анатолий Сергеевич.

И действительно, Серёжка заговорил сразу сложноподчинёнными предложениями, с видимым удовольствием упо-

требляя разные «кстати», «между прочим»... Деда звал исключительно Толей. «Толя, Толя!» – чуть что кричал на весь двор с бабушкиными интонациями.

Ирина Михайловна, в отличие от мужа, рассказывала много, охотно и с юмором. Она продолжала ходить по Крыму в походы со своими одноклассницами – такими же, как она, интеллигентными, моложавыми и крайне активными агрономшами, учительницами, врачами. Чаще всего ходили на Ай-Петри. По традиции. Нас с Женькой поразило, что в конце сороковых годов у ялтинских школьниц, как рассказывала Ирина Михайловна, было принято ходить на Ай-Петри встречать солнце. Девочки выходили из города поздно вечером, чтобы к восходу быть на айпетринских зубцах, торчащих над Алупкой, как пальцы, сложенные в виде латинской буквы “V” – victory, победа! В наши-то школьные годы, в семидесятые, не то что на Ай-Петри, ночью и в Приморский парк было страшно зайти. Но зато теперь, доехав на троллейбусе до Алушты, можно подняться на Демерджи, который называется «Екатерин-горой» для бестолковых курортников и за каменный профиль императрицы, смотрящей на море с задорным и гордым видом. Троллейбус из Симферополя в Ялту пустили как раз в тот год, когда родились мы с Женькой.

– Следует различать Южный и Северный Демерджи, – учила Ирина Михайловна. – Там совершенно разный климат, в каждой части своеобразный растительный мир...

Да, помню, Женька как-то в запальчивости заявила своему Игорю:

– Крым так же неисчерпаем, как и атом!

Впрочем, и Игоря, и моего будущего мужа не пришлось долго агитировать. После первого же похода они стали даже более ревностными патриотами Крыма, чем мы. Помню, решали вопрос, куда лучше пойти – в Большой Каньон или в Коктебель.

– Конечно, в Коктебель! – в один голос сказали Женькины родители.

Мы прошли от Феодосии до Алушты – Тихая бухта, Коктебель (он тогда назывался Планерское, но все по старинке звали его Коктебелем), Лисья бухта, Меганом, Судак, Новый свет...

– Мама, папа, в каком чудесном селе мы были! – сказала, вернувшись, Женька.

– Знаем – Весёлое!

Мы свалились в это благословенное место с какого-то холма, покрытого густым, приземистым лесом, нещадно царапавшим наши голые локти и колени. Во все стороны расти- лались виноградники, между ними вилась отличная асфаль- товая дорога к слепящему глаза, во всю ширь блистающему морю. А в самом селе на площади с каменным бассейном стояла совхозная столовая, в которой после голодного, мака- ронно-тушённого пайка на Меганоме мы с удовольствием ели необыкновенно вкусный борщ из баранины, котлеты из

баранины с картошкой и бараньей же подливкой, огромные, шлемообразные, как «будёновки», растрескавшиеся по донышку и сочащиеся бурым соком переспевшие помидоры...

– Они назывались «бычье сердце», – ностальгически вздыхает Женька.

– Почему же «назывались»? Они и сейчас есть, – спохватываюсь я.

И был, да, наверное, и сейчас есть, ещё один сорт помидоров с изысканно-ядовитым терпким вкусом и таким же диким, как вкус, зелёно-оранжевым окрасом, наливающимся откуда-то изнутри свирепой мухоморьей краснотой... «Чёрный принц»?

– Да, – как эхо откликается Женька, – «чёрный принц»...

– А помнишь, Женька, как твоя мама (ей было уже за семьдесят) рассказывала, как они с приятельницей забрались на скалы за Симеизом: «Ах, какой воздух! Какие виды!». Пришли два пограничника с огромным нюофаундлендом, именуемым в просторечье «водолазом»: «Пограничная зона! Не положено!» А они слезть-то и не могут. Чёрный «водолаз» весело лаял и, как флаг, приветственно размахивал мохнатым хвостом. Мальчишки долго снимали бабушек со скалы. Служивый пёс принимал в этой операции самое активное участие – вилял хвостом, толкал всех по очереди мокрым носом и время от времени оглушительно гавкал.

Но мне всё же больше нравились рассказы Ирины Михайловны из её молодости. Например, о балаклавском туалете.

Собственно, это было не в самой Балаклаве, а где-то на подъезде к ней, среди оглушительно звенящих цикадами, каменистых, обдуваемых горячими ветрами, полынных холмов. Время действия – пятьдесят первый или пятьдесят второй год. Анатолий Сергеевич учится в аспирантуре и, возможно, ещё не помышляет о женитьбе, а Ирина Михайловна направлена в командировку в винодельческий совхоз. Она снимала угол у старушки-гречанки. Дом стоял в балочке, а дощатый сортир – далеко и высоко на холме, к нему вела длинная, извилистая, выбеленная солнцем дорога. Вид от этого туалета на окрестные холмы и причудливо изрезанные бухты – захватывающий! А сам туалет и дорога к нему тоже, конечно, были видны отовсюду.

В Севастополе Ирина Михайловна познакомилась с двумя молодыми инженерами. Они тоже недавно окончили вуз, работают в Балаклаве, очень увлечены работой, о которой, впрочем, особо не распространяются – государственная тайна. Несколько раз в неделю молодые люди поднимались по горным тропкам, долго шли в наплывающих, звонких сумерках по степи. Душно и остро пахло мятой и чабрецом, чертополох цеплялся за широкие с отворотом брючины, горячий ветер развевал короткие галстуки, трепал стриженные «под боб» и тщательно зачёсанные назад волосы... Сероглазой Ирине с чёрными бровями вразлёт, с толстыми русыми косами, переброшенными на грудь или уложенными на затылке «корзинкой», обязательно приносили цветы, конфе-

ты... Ирина Михайловна не могла решить, кто из молодых людей ей нравится больше, но они и не торопили её с выбором. Беседовали о литературе, о музыке, планировали поездку в севастопольский театр... Во дворике под крупными звёздами долго пили чай с абрикосовым вареньем. Внизу, в опрокинутой чаше моря деловито перекликались корабли, небо внезапно крест накрест перечерчивали прожектора, отдалёнными огнями полыхала всю ночь севастопольская стройка – белокрылый красавец-город поднимался из руин.

– Ириночка, что же вы не угощаете кавалеров? – говорила хозяйка. – А ваша мама из алычи не варит? Кушайте, с грецкими орехами...

Однажды Ирина Михайловна побежала на холм в туалет, и уже на самой вершине заметила подходящих к дому ухажёров. Идти к ним по белой дороге из туалета, красовавшегося на открытой всем ветрам верхотуре, для «тургеневской девушки» было немислимо. Решила переждать, пусть думают, что она уехала. Ждать пришлось долго. Наконец, молодые люди ушли, оставив букетик синеглазой лаванды с отчаянным её, наповал разящим запахом и коробку «пьяной вишни». Смущённой хозяйке, бормотавшей: «...уехала Ириночка, кажись, машина была, я-то глухая, не слышу...», было сказано:

– Передайте Ирине, что она может не прятаться от нас в туалете. Мы и так больше не придём!

– Что ж ты, Ирка, просрала женихов! – хохотнул сосед

дядя Петя.

Благословенный дощатый сортирчик! Кто знает, если бы не он, может, не было бы на свете ни моей Женьки, ни Серёжки. Наверное, родились бы какие-нибудь другие, тоже очень хорошие люди, но что мне до них... А если бы мои родители не встретились? Нет, это невозможно себе представить! Никто, кроме них двоих, не мог вызвать меня и младшего брата Димку из небытия. Когда родился Димка, моя мама, пожалуй, перещеголяла Ирину Михайловну в смысле «ответственности за ребёнка». Димке не давали шагу ступить, маме всё время казалось, что он болен. Пришедшего с работы папу порой встречал отчаянный крик: «Ребёнок болен! Что делать?!» Фрукты для Димки мыли отдельно, чуть ли не с мылом, трижды обдавали кипятком. «Эта-то здоровая!» – пренебрежительно говорилось обо мне знакомым, а вот Димочка... Бедный мой брат! Мне, как старшей и «здоровой», поручалось следить за ним. Это чрезвычайно мешало жить полноценной жизнью: мне – прыгать в расчерченных мелом «классиках», а Димке – гонять «на велике» вдоль нашей Московской улицы в компании разновозрастных мальчишек с разбитыми коленками и облупленными носами.

– Юля, он же потный! – в ужасе кричала возвращавшаяся с работы мама, выловив Димку во дворе и бесцеремонно запуская руку к нему за шиворот.

Упирающегося Димку тащили домой, вытирали, передевали, мерили температуру. Закрывали все окна – «сквозняк,

продует!» Однажды – мы учились в девятом – к нам зашла Женька.

– А это что такое?!

На чайнике, важно попыхивающим паром на медленном огне, стоял арбуз.

– Это мама арбуз греет для Димки, чтобы он горло не простудил.

– Ну, вы даёте! Даже моя мама до этого не додумалась.

Ирина Михайловна тоже мыла фрукты кипятком и клас-са до восьмого проверяла, не потная ли Женька, но арбуз на чайнике был исключительно нашим, фамильным изобретением. За прошедшие с той поры тридцать лет мало что изменилось. Сорокалетний Димка чрезвычайно заботится о своём здоровье, каждый вечер гуляет по набережной в безукоризненно отглаженных мамой брюках, по выходным играет в теннис. Некоторое время вроде встречался с какой-то дамой, но так и не женился. А зачем ему? Мама даже кофе в постель подаёт ему по утрам.

А Женькин Игорь и мой бывший – вообще единственные сыночки. Удивительно не то, что мы с ними развелись, а то, что они всё-таки женились. Игорю-то хоть от тёщи иногда доставалось.

– Помнишь, Женька, как мы напились на глицинии? Вы с Игорем тогда Серёжку в первый раз увозили из Ялты.

– Ещё бы! Это даже Серёжка помнит.

– Быть не может! Ему же пять лет было.

– Ещё как помнит!

Конец августа, вкрадчиво шурша, осыпалась акация. Женька, Игорь и Серёжка уезжали на следующий день. Серёжку впервые в жизни отрывали от бабушки. Ирина Михайловна собрала невероятное количество вещей, увязала даже верблюжье одеяло:

– У них же там дует из всех щелей! Юленька, прошу вас, проследите, чтобы они заклеили окна.

Я обещала проследить. Наконец, мне удалось вытащить Женьку и Игоря на набережную – попрощаться с морем. Встретили одноклассников, Мишку и Славика. Сначала сидели на пирсе, а когда стемнело и с моря подул ветер, ещё тёплый, но с искусно вплетённой в его солёную пенную гриву ледящей струйкой, перебрались к театру на глицинию. Мы с Женькой раскачивались на ней, как на качелях. Мишка доставал из большой чёрной сумки пластмассовые стаканчики и портвейн «Алушта», бутылку за бутылкой. Игорь смотрел очень серьёзно, поправлял очки на переносице. Женька капризничала: «Я не могу пить без закуски!» Славик бегал в «Гастроном» за печеньем. Внезапно Игорь стал совершенно невменяемым, прямым и негнущимся, как манекен, глаза остекленели, и казалось, что на манекене две пары очков, а глаз нет совсем. Мы с Женькой кое-как довели его до дому, уложили на диван.

– Что же вы так... неудачно! – сочувствовал Женькин папа.

Ирина Михайловна негодовала:

– Евгения, как ты могла?! В последний день!

– Мама, ну и что, что в последний? Всё давно собрано.

– В конце концов, Евгения, это твой муж и... делай, как знаешь! Но позвольте, Юля, вы же вместе пили, не так ли?

– Конечно, Ирина Михайловна, мы совсем немножко.

Славика встретили, Мишку, вы ведь их помните? Славик у нас старостой был, – лепетала я.

– Почему же вы обе совершенно трезвые, а Игорь такой пьяный?

– Мама, мы же женщины!

– Да, действительно, – совсем было успокоилась Ирина Михайловна, как вдруг её поразила страшная мысль:

– А если Игорь умрёт?! Кто же тогда понесёт вещи?!

Мы хохочем. То есть это мы теперь хохочем, через двадцать лет. Женька вспоминает, как они тогда ехали, везли Серёжку в Москву.

По традиции прощались с Крымом у быстро пролетающей мимо поезда стелы на берегу Сиваша, который обрывался здесь резким, острым углом. Стела была выполнена в виде раскинувшей крылья чайки с надписью «Крым». Все напряжённо всматривались в окна. Почему-то было очень важно, уезжая, не пропустить её, и столь же необходимым считалось не прозевать при въезде точно такую же стелу на другой стороне дороги: «Вот она! Крым! Наш Крым! Ура!» В Мелитополе и до этого, в Джанкое, обязательно покупали вёд-

рами овощи-фрукты у набрасывающихся на поезда тётенок. Тянулись полями подсолнухи – все с одинаково поникшими от зноя головами. Ну и жара, если даже подсолнухи... А под Павлоградом горела степь. В низине у железнодорожной насыпи трава была густой, матовой, тёмно-зелёной. Перед ней светлой колоннадой вставала стена огня, а позади, на выжженной чёрной земле – пепел серебряными разводами, как соль Сиваша. Трепещущие струйки пламени казались зрячими, удивлёнными, испуганными. Себя ли боялись? Собственной яркой, непокорной, избыточной силы? Или травы, которой ещё не осмеливались коснуться? Спокойной, тусклой, невозмутимой, погружённой в свой тайный глубинный рост... Вдруг вспомнилось: «Стань передо мной, как лист, перед травой!» Откуда это?

– Так Иван-дурак Конька-Горбунка вызывал! – немедленно дал квалифицированное разъяснение пятилетний Серёжка.

Да, пламя в степи стояло, «как лист», перед травой... А на другой день, под Орлом потянуло яблочной свежестью, и грибной сыростью – под Тулой. Промелькнула в окне вагона рыжая сосна, беспомощно откинувшаяся назад, как женщина с густыми, распущенными волосами, совсем не похожая на своих стройных перламутрово-ствольных крымских сестёр. «А это что за дерево? Сосны такими не бывают», – не верил Серёжка. Грибники в ожидании электрички расположились на обочине в непринуждённых позах «Охотников на

привале». И вот уже, как вчера на Сиваше, весь вагон взволнованно и радостно пристраивается к окнам: «Москва! Москва!» Выйдя на платформу Курского вокзала, Серёжка испуганно говорит:

– У меня руки, как лёд!

Женька тоже испугалась – «Вдруг и вправду заболит!», но сказала спокойно:

– Ничего страшного. Ты тепло одет.

Внезапно в кухню врывается Серёжка. Теперь ему почти 25.

– Мама, тётя Юля! Вы помните фильм про Буратино? Помните, кто там играл лису Алису?

– Кажется, Елена Санаева... Фильм-то толком я не видела, так, какие-то отрывки... Юля, ты видела?

– Не помню, кажется, нет. Но он точно снимался у нас, в парке «Ай-Даниля». Это санаторий такой, Серёжа, знаешь, по дороге в Никитский сад...

– Да нет же! – перебивает Женька. – «Ай-Даниль» за Никитским, ближе к Гурзуфу, а «Буратино» снимали в «Сосняке». Там ещё сосны такие прямые-прямые, с дороги видно. Мы же их всегда проезжаем!

Ни «Сосняк», ни «Ай-Даниль» Серёжка не помнит, но дело не в этом. Дело в том, что он сейчас читает на компьютере книгу Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом» и находит поразительное сходство между бабушкой Санаева и Ириной Михайловной! Ирина Михайловна тоже мыла

кипятком и без того размякшую, осклизлую вишню, кутала внука в шерстяные штаны и шарфы, без конца мерила температуру, проверяла, не потный ли он, смотрела горло и...

– Но наша бабушка лучше! – кричит Серёжка. – Помнишь, мама, когда я учился в первом классе, ты уехала на месяц в командировку, а когда вернулась, бабушка не хотела меня отдавать?

– Ещё бы я не помнила! Она и продержала тебя в Ялте целых полгода, до сентября. Я места себе не находила!

– Но через полгода ведь отдала, хоть и говорила «Они погубят ребёнка!» А бабушка Санаева забрала его, кажется, как раз во время съёмки «Буратино», а отдала только, когда ему было двенадцать лет. И сама вскоре после этого умерла. Нет, наша бабушка намного лучше! Мама, а ты помнишь, как бабушка вызвала для папы «скорую помощь»?

И Женька с Серёжкой, смеясь и перебивая друг друга: «Нет, мама, не так!», «Да как ты можешь это помнить, ты же был совсем маленький!», рассказывают. Серёжке было четыре года, он переболел ветрянкой, выздоровел, уже и пятна зелёнки выщвели. Но тут приехали Женька с Игорем, и Ирина Михайловна заявила, что Серёженька ещё не совсем оправился от болезни – чтобы легкомысленные, безответственные родители не вздумали тащить ослабленного ребёнка на море.

А тут и Игорь, здоровый, в общем-то, мужик, перегрелся, что ли, или действительно какой-то вирус подцепил. Во

всяком случае, вечером у него вдруг поднялась температура. Чуть ли не до сорока. Серёженька был немедленно изолирован, то есть помещён в отдельную комнату: «Не смей подходить к папе, он заразный!» Ослабленный ребёнок развлекался тем, что с разбегу бросался на дверь, запёртую на крючок, и вопил во всю глотку: «Выпустите меня!» Женька всю ночь мазала мужа уксусом с постным маслом и – о, чудо! – утром у Игоря тридцать шесть и шесть и чувствует он себя превосходно.

Однако Ирина Михайловна, принципиально отвергавшая лёгкие пути, заявила, что необходим врач. Ведь вчера было почти сорок, а главное, ей что-то не нравится Серёженькино горло – какое-то покраснение, вдруг он заразился?! Да и у неё самой побаливает нога. В доме трое больных! Вызвали «скорую помощь».

Дальше – сцена, достойная пера Тэффи. Женька на кухне варит Серёжке манную кашу. Игорь, как больной, лежит в кровати. Серёжка гремит дверью: «Выпустите меня!»

– Мама, сколько ложек сахара? – кричит из кухни Женька.

– Что?! Я не слышу! – ещё громче отвечает Ирина Михайловна. – Серёжа, не смей! Игорь, скажите ему! Толя, Толя! Что ты будешь на завтрак? Яичницу будешь?

А Анатолий Сергеевич невозмутимо читает газету.

Тощий, нервный, бледный почти как его халат, но в отличие от просто белого халата, ещё и с какой-то прозеленью в лице, доктор «скорой помощи» долго звонил, стучал, снова

звонил.

– Они дома, дома! – сказали соседи, завтракавшие во дворе за большим деревянным столом под инжиром. – Вы лучше в окна кричите. Ирина Миха-ална-а! Женич-ка-а!

Соседи, наконец, были услышаны, а доктор впушен.

– Ах, доктор, извините! Видите, как у нас – голова кругом... Прошу вас сюда, помыть руки... Женя, Женя! Дай доктору полотенце! Нет, не то! На нижней полке! Да, доктор, представьте, у нас трое больных. Нет, тяжёлый один. Ребёнок перенёс ветрянку, и я волнуюсь, не мог ли он заразиться...

– Мальчик здоров, – кротко сказал доктор, мельком взглянув на Серёжку.

– А горло, доктор?! Вы же не посмотрели горло!

– Открой рот! – сказал доктор с ненавистью.

Серёжка приятно улыбнулся и спрятался за портьеру.

– Серёжа, не смей! Портьера пыльная! А вдруг аллергия?!

Евгения, я же просила тебя пропылесосить! А вы, Игорь, ещё в прошлом году мне обещали вынести в сарай эти книги... Вот и читали бы в сарае! Доктор, а вдруг астма?! Разве не может быть? От пыли!

Серёжка завернулся в портьеру.

– Игорь, вы же отец, скажите ему! Нет, не подходите, вы заразный! Толя, Толя! Скажи хоть ты ему!

– Хе-хе-хе! – сказал Анатолий Сергеевич, не отрывая глаз от газеты.

– Серёжа, не смей! Евгения, где же ты? Я не могу с этим

ребёнком!

Женька выскочила из кухни. Оттуда немедленно потянуло пригоревшей кашей. Серёжку выпутали из портьеры. Доктор сказал, что горло хорошее.

– Но вы так не увидите, доктор! Надо ложечкой! Женя, дай доктору ложку! Скорее! Нет, не эту! Этой Игорь вчера варенье ел – «изюм-эрик», я видела! Евгения, что же ты?! Каша горит!

– Очень хорошее горло, – повторил доктор и поспешно двинулся к выходу.

– Доктор, доктор! Куда же вы?! У нас ещё один больной! – резво догоняя его, кричала Ирина Михайловна.

– Кто это? – подозрительно спросил доктор.

Ирина Михайловна выждала, пока доктор остановится, и после эффектной паузы скорбно и торжественно объявила:

– Ах, доктор, это я!

– Что случилось? – измождённая физиономия доктора выражала покорность судьбе.

– Ах, доктор, представьте, я ездила в Рыбачье! На катере! Доктор, вы были в Рыбачьем? Какой воздух! Не правда ли? Не то, что в нашей Ялте – машины, толпы людей... Я здесь просто задыхаюсь!

– Ну?

– Вы знаете, доктор, был небольшой шторм, а там, в Рыбачьем, такая крупная галька... Доктор, мне кажется, что, выходя из моря, я растянула ногу...

– Хе-хе-хе! – сказал Анатолий Сергеевич.

Доктор, затравленно озираясь, нёсся к дверям.

– Мама, а Игорь? – крикнула Женя из кухни.

– Доктор, куда же вы?! – бросилась за доктором Ирина Михайловна. – А третий больной?! Я совсем забыла... Температура сорок!

– Где? – приостановился доктор и тяжело задышал.

Снова эффектная пауза и столь же театральный, плавный, указующий жест:

– Вот, пожалуйста! Мой зять Игорь!

Игорь, толстый, плечистый, загорелый, сидит в кровати и ест яблоко. Доктор ещё больше позеленел, подпрыгнул, плюнул и умчался.

– А ведь мама к Игорю довольно неплохо относилась, – говорит Женька, – по-своему, конечно, с юмором. Не то, что свекровь ко мне. Всё возмущалась, что я «не слежу за мужем», а я тогда на трёх работах горбатилась, и если бы мама не помогала, не знаю, как бы мы вообще выжили. Да и у тебя то же самое...

– Знаешь, а ведь их можно понять. У нас оба дедушки на фронте погибли, а у твоей мамы – старший брат. У моей свекрови тоже...

– Вот они и носятся так, кто с сыновьями, кто с внуками...

– Хоть бы уж мой парень и твой Серёжка женились скорей, а то будут, как наш Димка. Я на любую невестку молиться буду! Вот увидишь.

– Их папашам женитьба не помешала остаться маменькиными сыночками.

– Да, правда, а эти – бабушкины внуки.

– Нет, эти всё-таки лучше, чем их папаши, – задумчиво говорит Женька.

Одного из «этих», Серёжки, в кухне давно нет. Он побежал дочитывать «Похороните меня за плинтусом» с чувством великой радости, гордости и благодарности: «Наша бабушка лучше!»

Живите долго, Ирина Михайловна!

Октябрь 2007 г.

Разбитое будущее

Марине 3.

Мне не следовало писать этот рассказ. Точнее так: не я должна была его написать.

Я снова приехала в родную Ялту и удивляюсь невероятно тёплому ноябрю – в последний раз я была на родине в ноябре двадцать шесть лет назад. Мы с Маринкой, одноклассницей, идём от моего дома по улице Боткинской мимо гостиницы «Украина». С каждым годом «Украина» всё больше ветшает, того и гляди – обвалится второй этаж, и потому её благородный, розово-белый, шелушащийся от старости фасад давно обнесён тонкими верёвками с редко повязанными на них красными лоскутками, чтоб народ не ходил, «опасная зона». Но мы всё равно ходим, подныривая под несерьёзное ограждение, иначе прижимают к тротуару, теснят беспрестанно проезжающие по Боткинской машины. Перейти на другую сторону улицы? Нет, мне на эту сторону, к дому Ханжонкова, в котором с 1919 по 1945 год жил основоположник отечественной кинематографии. Дом был описан мной в одноимённом рассказе и мистически загорелся сразу после того, как рассказ опубликовали. Пожар не повредил столетним каменным стенам дома, но мемориальную доску, конечно, пришлось снять, возможно, она треснула от огня.

Зловеще зияют в проломах крыши и окон обгоревшие чёрные балки. Исчез и бежевый фургон, стоявший вплотную к дому. Поговаривают, что это его владельцы были виновниками пожара: квартиру сдавали, а сами жили летом и зимой в фургончике, включали там слишком мощные отопительные приборы.

Хорошо, что я увековечила и этот дом, и некоторые другие ялтинские дома, улицы и дворы хотя бы в коротком рассказе, потому что все они постепенно утверждаются в статусе вечно «опасной зоны» – случайно сгоревшей, закономерно разрушающейся, навеки утраченной, разбитой на мелкие черепки... Не собрать, не склеить...

А вчера в Ливадийском дворце встречались два премьера – российский и украинский. Ялтинцам на целый день неприятностей. Мою улицу Чехова без конца перекрывали. Я рассказываю Маринке, что имела неосторожность утром сбегать в булочную, а буквально через десять минут не могла попасть домой.

– Вы, что же, именно на Чехова живёте? – переспросил милиционер и потребовал:

– Паспорт с пропиской!

Я испугалась: прописка у меня московская. Впрочем, прописанных в Ялте, но на других улицах, тоже не пустили. Кто-то шёл к заболевшим родственникам или нянчить внуков, кому-то на работу. Вместе с местными бабушками мы пробирались проходными дворами, пролезали меж сараев у по-

горелого «дома Ханжонкова», здесь ещё на наше счастье не успели наставить заборов. Бабки последними словами ругали «Юльку», а к «нашему», чувствовалось, питают безграничную любовь. С тоской говорили мне: «У вас в России...» Господи, о чём это они?! Что за бред! «У меня в России» – это здесь, в этом дворе! Конечно, и в Москве тоже – разве можно нас разделить? Но я не сказала им этого, вспомнила, как четырнадцать лет назад, в Севастополе, мы ехали с подругой-москвичкой в троллейбусе, и одна женщина, мгновенно и безошибочно «вычислив» мою подругу по говору, с такой же тоской, как эта старушка, и нежным упрёком, сказала: «А ведь вы из Москвы... Что же вы нас бросили?» Этим летом мой знакомый, путешествовавший по Крыму на машине, рассказал, как попал в Ялте на фильм, переведённый на украинский язык, многое, разумеется, понимал, но до конца сеанса не дотерпел. Через несколько дней в севастопольском кинотеатре принялся допытываться, на каком языке будет картина. «На русском, на каком же ещё! – обиделась кассирша. – За кого вы нас принимаете?»

– Да, севастопольцы, они такие, «богатыри – не мы», – с грустной и добросердечной завистью отзывается на это Маринка.

Но я хотела рассказать совсем о другом. А получается всё не то, потому что этот рассказ должна была написать не я.

Маринка, которую мы со школы зовём Маней, родилась актрисой. Нет, в жизни она была и остаётся очень честной и

прямой, без кокетливых артистических ужимок: «Ах, я вся такая непредсказуемая, порывистая такая вся...» Наша Маша – актриса в самом непосредственном и точном, профессиональном значении этого слова.

Была в нашем классе и ещё одна прирождённая актриса – Олечка Шалаева. В её случае как раз имела место очаровательная женственная непосредственность, но в очень умеренных дозах и естественная, искренняя, не напоказ. Вот, например, вызывает физик Олю к доске. Оленька, до этого преспокойно шушукавшаяся с подружкой, совершенно по-мхатовски вскрикивает «Ах!..» и красиво растрёпанная, с развевающимся коричневым подолом, сбитым в сторону чёрным форменным фартуком, заламывая руки, несётся к физику и что-то долго нашёптывает в его большое, недоверчиво повёрнутое ухо. Класс замирает. «У Оли в семье произошло что-то ужасное, из-за чего она не выучила физику. Может быть, бабушка умерла? Бедная Оля!» – все так объята сочувствием, что даже забывают пробегать глазами заданные на дом страницы учебника. Впрочем, теперь уже всё равно – «перед смертью не надышишься»! Физик угрюмым кивком возвращает Олю на место и, низко склонившись над журналом, выискивает новую жертву. Наконец, объявляет: «Яблонская!», по классу прокатывается вздох облегчения, а я иду к доске. На перемене спрашиваю безмятежно весёлую Олю, что случилось. Она удивлена:

– Почему ты думаешь, что что-то случилось? Ничего!

– А что ты сказала Борис-Маркичу?

– Да ничего особенного, так, вообще, что учу, учу и всё равно не могу запомнить... – и тут же простодушно восхищается мной: «Какая ты умная! И как ты понимаешь в этом электричестве?!»

Оля с Маней выступали в разных амплуа. Оля в третьем классе – несомненная принцесса, в пятом – непревзойдённая Золушка, в восьмом – Наташа Ростова и, наконец, Лиза Калитина – в десятом. А потом – студентка романо-германского отделения Симферопольского университета, потому что быть переводчицей и экскурсоводом тоже очень здорово, и эта профессия, кстати, требует немалого артистизма.

Я встретила Олю через восемь лет после школы, мы обе катили коляски по ялтинской набережной. Оказалось, что Оля замужем за офицером, несколько лет прожила с ним в Монголии.

– Как же там чудесно! – это было почти первое, что сказала мне Оля, вдохновенно подняв лицо к невнятно серенькому ноябрьскому небу. – Я так и не поняла, отчего офицерские жёны всё время ныли, пилили мужей... Ну, с водой плохо, с продуктами не очень – подумашь! Это же мелочи! Зато выйдешь утром в степь – красота! Ничего нет прекраснее!

И вот уже четверть века никогда не виданная мной чудесная монгольская степь живёт во мне и освещает мой унылый путь – подарок моей одноклассницы, талантливой романтической актрисы и переводчицы Ольги Шалаевой.

Ещё одну степь подарил мне одноклассник. В прошлом году, летом. Вовка Леонтьев, узнав, что встречаются несколько человек из нашего класса, примчал из Симферополя на служебной машине для того, чтобы провести с нами полтора часа и уехать обратно – дела. Он не притронулся ни к одной из разнообразных, заманчиво поблёскивающих бутылок, потому что сам был за рулём, у его водителя, как у всех граждан, в воскресенье выходной. А Вовка работает без выходных и, кажется, без отпусков – заведует почти всем энергетическим хозяйством Крыма. И так же, как Оля, первое, что сказал он мне, отмахнувшись от дежурных вопросов о семье («да всё нормально, сын – хороший парень, студент»), было вот что:

– Знаешь, Ленка, меня ведь после института распределили в Туркмению, три года отработал, хотел ещё остаться, но жена не согласилась – вода нездоровая, климат жёсткий... Как же там было замечательно, хотя я люблю Крым, и только здесь, у нас, согласился бы прожить всю жизнь.

– А что там, в Туркмении? Природа?

– Да, степь необыкновенной красоты, и люди хорошие. Да народ везде неплохой, обычные советские люди. А вот отношения между людьми, точно помню, в Туркмении были особенными. Потому, наверное, что главным была наша работа. Сейчас я тоже, ты видишь, пашу с утра до ночи, куда больше, чем тогда, но здесь – рутина, поддержка из последних сил уже существующего, борьба за выживание, на грани бес-

смысленности, кажется, ещё шаг – и погрязнем в сизифовом труде, а там – величие замыслов, прорыв к будущему, грандиозное строительство... Понимаешь?

– Думаю, да. Это как в конце пятидесятых, когда строили каракумский канал, нас ещё на свете не было, я у Юрия Трифонова читала, роман «Утоление жажды». Ты не читал?

– Нет, почитаю, если в отпуск наконец вырвусь. «Утоление жажды», говоришь? А что же мы в начале восьмидесятых утоляли? Наверно, жажду созидания, – и Вовка, включив немедленно разразившийся трезвоном мобильник, умчался в Симферополь.

...И опять я пишу не о том. Не я, Маня должна была написать этот рассказ. Она, кстати, дружила с Вовкой, они даже родились в один день. В отличие от Оли Маринка-Маня была не романтической, а характерной актрисой, она очень здорово умела пародировать и вообще много чего умела. В той самой «Золушке», постановке школьного драмкружка, она играла королевского шута, легко и бесстрашно прокатывалась по сцене «колесом». На репетициях в актовом зале то и дело мелькали перевёрнутые тоненькие ножки в чёрных «трениках», а в дни спектаклей, кажется, эти же самые штаны Манина мама обшивала яркими цветными лоскутьями с блёстками.

И теперь у осыпающейся гостиницы «Украина» Маня говорит мне: «А помнишь?..» Два слова, которые как пароль, таинственно понизив голос, повторяем мы друг другу по-

следние двадцать лет.

– А помнишь, здесь работала администратором Антонина Алексеевна, мама Лариски Лысиковой?

– Помню, конечно. Помню даже, как нас отпустили с какого-то урока, а может быть, мы сбежали. Мы тогда втроём – ты, я и Лариска – зашли в «Украину» к её маме за деньгами, потому что Ларка решила подстричься. И также втроём пошли в парикмахерскую «Южанка». Ларку стригли, мы с тобой смотрели, а потом парикмахерша спросила: «Тебе шею подбрить?» Лариска очень испугалась и говорит: «Как это?», а ты закричала: «Бородку ей, бородку!» Помнишь?

– Да, помню, это было в начале седьмого класса, наверно, я тогда ещё не вышла из роли королевского шута. А после седьмого, на каникулах, мы с Лариской после пляжа часто заходили к Антонине Алексеевне на работу, и как-то она познакомила нас с Эдитой Пьехой. Она выпорхнула из машины в гостиничный вестибюль, с концерта, вся заваленная цветами, и стала раздавать букеты всем – Антонине Алексеевне, швейцару, горничным, нам... И такая она была великолепная эстрадная дива, прекрасная блоковская дама, благоухающая духами и цветами, только не печальная, а весёлая, в палевых, розовых, опаловых шелках, искрящихся шифонах, в летящих лентах, бантах, развевающихся шарфах... И ведь она почти не изменилась с тех пор, дай ей Бог здоровья и долголетия! Но я хотела тебе рассказать, как именно здесь тем же летом возникло вдали, чуть забрезжило, поманило

меня моё будущее...

Тогда же, в конце августа семьдесят третьего, Антонина Алексеевна познакомила Лариску и Маню ещё с одним артистом довольно редкого в те годы оригинального жанра – он читал, пел, пародировал, исполнял некоторые цирковые номера, а также преподавал в театральном училище. Маня называет ничего не говорящую мне, обычную русскую фамилию, и я тут же её забываю, а переспрашивать не хочется. Этот ленинградский артист, сравнительно молодой человек, серьёзно и внимательно прослушал восторженные Манины рассказы о школьных спектаклях, сходил в школу, где уже начали готовиться к новому учебному году, и познакомился с Эльзой Константиновной, руководительницей драмкружка и учительницей русского и литературы. Между прочим, наша Эльза Константиновна училась некоторое время на режиссёрском факультете, но что-то не сложилось, и она потом закончила пединститут.

Переговорив с Эльзой Константиновной, артист пошёл к Маниным родителям и убедил их, причём особенно долго пришлось уговаривать папу, что дочь их – почти готовая артистка, у неё голос, слух, дикция, пластика и талант, который нельзя зарывать в землю. И она непременно должна после восьмого класса, не откладывая, поступать к ним в училище, а он поможет, поддержит. И уехал, оставив скептическому Маниному отцу свой адрес.

– А в октябре, – рассказывает Маня, – я сидела на кухне и

ела куриный суп с вермишелью из большой белой тарелки, она у нас одна такая была – старинная, фарфоровая, осталась от бабушки, чудом не пропала во время войны. Как обычно бормотало радио, и вдруг я услышала, что разбился самолёт с летевшими на гастроли артистами, и среди них – он. Внезапно наступила жуткая звенящая тишина, наверное, до меня просто перестали доходить звуки, а бабушкина тарелка почему-то сама собой соскользнула со стола и разбилась вдребезги. Я сидела с приклеившейся к губе вермишелиной и думала, что сегодня вместе с жизнями стольких прекрасных, талантливых людей разбилось и моё будущее.

– Почему же ты не поехала в Ленинград или ещё куда-нибудь? Ведь ты вполне могла поступить и без поддержки? Хотя бы попытаться? – спросила я и тут же пожалела об этом, потому что уже знала, что Маня ответит.

– Да, могла бы, но тогда мне казалось, что будет предательством, если я попытаюсь строить свою жизнь так, как будто ничего не произошло. Родители ни разу не напомнили мне об этой истории, словно и не было ничего, и Эльза Константиновна не стала спрашивать, почему я перестала ходить в драмкружок.

После десятого класса Маня поступила, как и Оля Шалаева, на романо-германское отделение. Но на четвёртом курсе бросила университет вместе с ещё несколькими девочками из их группы, восстав против какой-то преподавательской несправедливости. Потом вышла замуж, родились дети. Че-

рез много лет Маринка всё же окончила университет заочно, но не «инъяз», а филологический факультет. Правда, работать по специальности ей не довелось. Может быть потому, что к тому времени, когда Марина Николаевна получила диплом учителя русского языка и литературы, в Ялте уже говорили с тоской: «у вас в России», а в Севастополе – «вы нас бросили».

– А почему ты пошла именно на «инъяз»? Вслед за Олей? А на филологию – как Эльза Константиновна?

– Возможно, но если я и подражала им, то неосознанно. Я ведь всю юность прожила как в тумане, всё мне виделось, как падает со стола и разбивается бабушкина тарелка, а вместе с ней и моё будущее...

– Вот и напиши рассказ в память об этом артисте, ты же филолог! Собственно, рассказ уже есть, осталось только записать. Нельзя же вечно носить боль в себе и делать вид «будто и не было ничего». Ведь написать, сама знаешь, как новую жизнь вдохнуть! Глядишь, тогда что-то и склеится, конечно, не здесь, не сейчас, может, в каких-то иных измерениях. А иначе – зачем всё это? Маня, напиши! Обещаешь?

Маня отрицательно качает головой. Она очень честный человек и ничего не будет обещать зря.

Не я, моя одноклассница Марина должна была написать этот рассказ.

* * *

... Вот так и мечусь я раненой белкой меж родных моих городов и людей, обрезаюсь в кровь об осколки разбитой страны и зачем-то всё стараюсь собрать и склеить прошлое, и подогнать его к настоящему, и соединить с будущим. И всё это, наскоро слепленное, на живую нитку примётанное, рассыпающееся и трепещущее, вновь и вновь неумолимо падает со стола, как белая фарфоровая тарелка, и разлетается на мелкие звенящие кусочки...

Ноябрь 2009 г.

Сталинские соколы

Светлой памяти наших дедов

1

Мне уж казалось – мы туда никогда не попадём. Задумано было давно, с весны. «Бери своих девчонок, – распорядился Афанасьич, – много не надо, штук пять хватит...» Я не обиделась за «штук». Афанасьич привык считать людей по штукам, по головам. Просто так удобнее. Наш Афанасьич – учитель истории в школе и краевед по совместительству. Андрей Афанасьевич Орлов. А ещё он часто публикует любопытные статейки по истории нашего подмосковного города в местной газете, выступает с лекциями, ездит в Москву на конференции... Круг его интересов обширнейший. А уж гулять с Андриюшей по Москве – пиршество духа! Как-то в метро «Кропоткинская» меня остановила женщина с вопросом, как пройти к дому Толстого: «Нет, не тот, что музей, а дом, что вообще-то и не Толстого, а принадлежал одному князю, но Толстой там тоже бывал, а потом...» Я сказала гордо:

– Мой друг вам сейчас всё объяснит.

Могла бы добавить: «Догонит и ещё раз объяснит, а за-

одно расскажет ещё столько такого, чего вы нигде не узнаете...»

Андрюша в это время прощался у вагона с коллегой-краеведом.

– Дом, где бывал Толстой? – деловито переспросил Афанасьич, нисколько не удивившись, точно он заранее условился о встрече с этой женщиной, чтобы провести экскурсию по толстовским местам. И объяснил, и добавил, и уж собрался идти с ней, но я его утащила – мы опаздывали. Когда это было? А, ну как же! В конце мая два года назад. Мне Андрюша тогда такой роскошный подарок сделал на день рождения. Пригласил в Институт философии на конференцию, посвящённую Розанову. Он и сам там с докладом выступал. О дружбе и переписке Василия Васильевича с новгородским священником Устьянским.

– Теперь можно сказать, что Розанов – это наше всё, – говорил, закрывая конференцию, директор института.

А когда я встретила Афанасьича этой весной, он несся огромными шагами по улице и сердито размахивал туго набитым портфелем. Там у него ученические тетрадки, книги, рукописи... За Афанасьичем поспешали два юноши и тянули противными голосами: «Ну-у, Андреей Афанасьевич...» Увидев меня, Андрей Афанасьевич круто затормозил и дал юношам отмашку свободной рукой. Те застыли в почтительном отдалении.

– Андрюша, отпустил бы парней... А что они такого сде-

лали? Они больше не будут...

– Ты ещё меня поучи! – грозно закричал Афанасьич. – Это вот из-за таких как ты, из-за таких вот как ты мамаш, эти оболтусы...

«Оболтусы» рассматривали меня смеющимися глазами. Они обожают Афанасьича, особенно мальчишки. Он ведь не только историю, но ещё и физкультуру у ребят ведёт и в лагерь их возит на все каникулы, а летом – в археологические экспедиции. Ребята зовут его «Чёрный Медведь». Действительно, похож: огромный, чернобородый, с мохнатыми бровями, и из этой буйной чёрной растительности выглядывает крупный нос «картошкой». Одет Афанасьич, как правило, в чёрную куртку, чёрные брюки и свитер, и только на начинающей лысеть голове синяя кепочка.

Тогда-то, весной, Андрюша и выдвинул эту идею: сходить как-нибудь на Введенское кладбище. Осенью, где-нибудь в сентябре, чтоб не жарко было, и главное – чтобы не в дождь, в дождь на кладбище делать нечего. А я бы и в дождь не отказалась – так люблю кладбища. В последнее время всякие умники с многозначительным видом цитируют письмо Чехова о том, что он, Антон Павлович, приезжая в незнакомый город, первым делом шёл на кладбище и в публичный дом. А что – и правильно! Самый верный и быстрый способ познакомиться с городом. Насчёт публичных домов я, конечно, не скажу, не была... Спрашивала на сей счёт Афанасьича, он лукаво улыбался, но с ответом тоже затруднился. Зато

горячо одобрил мою симпатию к кладбищам. Наверное, это у меня с детства...

– А у нас всё с детства, – подтверждает Андрюша.

С самого раннего детства мама водила меня на ялтинское кладбище, сначала к бабушке, а потом и к бабушке. Это была чудесная прогулка. Всегда, в любое время года. Чуткой ли, сухой осенью, тёплой ли крымской зимой или размашистой южной весной, которая всегда накатывала внезапно, неудержимо и сразу становилась не отличимой от лета. А летом кладбище походило на джунгли – буйно и непроходимо разрастались кусты, хмель оплетал кресты и кладбищенские оградки, легко и не больно, будто заигрывающий котёнок, кололась ежевика на узкой каменистой тропке, по которой мы спускались к речке со стеклянными банками, чтобы набрать воды для цветов. Я смотрела на указатель в кипарисовой аллее «К Чеховым». Будто в гости, к живым. И действительно, ведь дом Чеховых, «Белая дача», – здесь же, неподалёку.

На ялтинском кладбище смерти не было. А были наши родственники и друзья, которые не ушли, не исчезли, а просто переселились чуть подальше, на край города. Для того, быть может, чтобы мы могли ходить к ним в гости, красить оградки голубой или серебряной краской, вырывать колючие стебли сорняков, рыхлить землю на могилках и сажать фиолетовые ирисы. Мама знала многих лежащих за серебряными оградками. Кто лежал под гранитными памятника-

ми, кто – под крестами, украшенными пластмассовыми цветами, кто-то – под жестяными коническими пирамидками, увенчанными пятиконечными звёздами, а некоторые – и под крестом, и под звездой сразу. Мы не видели в этом противоречия.

Самый замечательный памятник был недалеко от могилы бабушки – серая глыба крымского диорита и вырастающий из неё торс и голова горбоносого старика в старинной плоской профессорской шапочке. На глыбе фамилия – Егоров, даты жизни и подпись «От виноделов страны».

– Наш учитель, – говорила мама, глаза её увлажнились.

– Какая жизнь! – думала я. – Какую же высокую жизнь надо было прожить, чтобы получить в награду простые и прекрасные слова – «От виноделов страны».

А страна-то, страна тогда была огромной, беспредельной в пространстве, нескончаемой во времени. Конечно же, были у винодела Егорова и другие, многие награды при жизни, может быть, даже Сталинская или, как её стыдливо стали именовать впоследствии, Государственная премия. Но эта последняя награда в виде короткой надписи на памятнике из них главнейшая. Так думалось мне и в десять, и в семнадцать лет. Так я думаю и сейчас.

– Да, – с восторгом подхватывает Андрюша, – я давно хочу написать одно исследование о мемориалах, о кладбищах, о нашей памяти... О том, что всё это не им нужно, а нам, прежде всего нам! Ты мне поможешь? Я хочу начать с Че-

хова. Подберёшь мне все рассказы, где Чехов упоминает о кладбищах?

– Подберу, – обещаю я и тут же припоминаю, что у Чехова о кладбищах вроде не так уж и много... О публичных домах, впрочем и того меньше. Печально-ироничный рассказ «Ворона», сильный и страшный рассказ «Припадок». Кажется, всё?

– Но стоило вообще не вылезать из этих домов, чтобы написать только один такой рассказ. Правда, Андрюша?

Афанасьич согласно кивает и опять лукаво улыбается.

А о кладбищах? Так, о пьянице-актёре, о старом архитекторе, очень смешной рассказ о том, как записной кладбищенский оратор в своей речи похоронил живого человека и... всё? Ах, ну как же! Как я могла забыть: в моей с детства любимой повести «Степь» мальчик Егорушка едет учиться из родного города мимо кладбища, где «за оградой под вишнями день и ночь спали Егорушкин отец и бабушка Зинаида Даниловна...»

2

Итак, я пытаюсь собрать «штук пять девчонок», моих пятидесятилетних подруг, на экскурсию по Введенскому кладбищу. Надо мной смеются:

– На кладбище? С Афанасьичем? Тебе не кажется, что равновато? Нет уж, меня уволь...

Прошёл золотистый сентябрь, чуть-чуть подождало в октябре, редко и тепло, как в тетрадке в косую клетку. В начале ноября по утрам стало подмораживать, траву заметало жемчужным инеем, а на крыше котельной, на которую я каждое утро смотрела из окна своей кухни, казалось, рассыпали крупную соль. Афанасьич уже не помышлял о дожде, говорил: «Как бы снег не выпал, под снегом ничего не увидим». Нашёл о чём беспокоиться – о снеге! Снега не будет, не надейся, в прошлом году – я точно запомнила – первый снег выпал на Татьянин день, двадцать пятого января.

Меня смущала не погода, а отсутствие желающих поехать на экскурсию, потому что внимать Афанасьичу мне одной представлялось непозволительной роскошью. Это во-первых. А во-вторых, и это главное, не хотелось оказаться единственной ученицей в классе. Я плохо запоминаю даты, фамилии, кто там кем кому приходился. Мне важен общий настрой, впечатление, облик прошлого, дыхание его, да, живое дыхание прошлого. А именно его ох как трудно будет уловить, когда Афанасьич со свойственным ему темпераментом начнёт забрасывать меня именами, фактами, да ещё без конца требовать подтверждения:

– Запомнила фамилию? Повтори. К этой интересной судьбе мы ещё вернёмся.

Нет, нам определённо нужен кто-то ещё!

Подруга Наташа согласилась. Было десятое ноября, воскресенье. Утро морозное, но сухое, безветренное. Афана-

сьич приветствовал Наташу строго: «А где твои?» Он учил обоих Наташиных мальчишек.

– Да что ты, Андрей! Разве их от компьютера оттащишь!

– Ладно. Поехали.

Метро «Щёлковская». Автовокзал.

– Бутерброды взяли? – Афанасьич тревожно оглядывает наши, по-видимому, подозрительно тощие сумочки.

– Я печенье взяла, шоколадку... – бормочет Наташка.

– А бутерброды?! – возмущается Афанасьич.

– Андрюша, давай лучше в кафе зайдём, холодно ведь, – пытаюсь успокоить я.

– Какое кафе?! Там дорого!

– А мы недорогое найдём, типа там «Пирожковой»...

Я вдруг явственно вижу ялтинскую улицу Кирова, она же посёлок Чехова или Аутка, по которой мы с мамой возвращаемся с кладбища в такой же сухой, тихий, чуть морозный день. Лет сорок назад. Только это, конечно же, не осень, а, пожалуй, январь. Самое холодное время года – градусов пять, а то и десять тепла, но кажется, что кто-то невидимый, затаившийся в синевато-серых горах, накинул на город тончайшую ледяную сеть. Наверное, выходной. Суббота или воскресенье. По обеим сторонам пустой узкой улочки вывески: «Пирожковая», «Пельменная», «Бутербродная», «Рюмочная», «Сосисочная» и даже «Котлетная». У дверей «Сосисочной» стоит, покачиваясь и держась за стену дома, сизоносый дед. Разные по форме и размеру серые крымские кам-

ни, из которых у нас сложены все дореволюционные дома, скреплены выпуклыми, более тёмными полосками раствора. За такую полоску дед и придерживается – очень аккуратно, двумя пальцами.

– Дедушка уже накушался сосисок, – весело комментирует мама.

За невымытыми стёклами «Сосисочной» ни души, только у кассы во весь золотозубый рот зевает толстая кассирша. И на улице, кроме нас и деда, никого. Проезжает со стуком пустой автобус, «восьмёрка»...

– Там никаких кафе нет, – выводит меня из оцепенения Андрюшин голос, – и некогда нам будет искать, а есть захотите. Я, между прочим, позаботился!

Афанасьич бьёт себя кулаком в грудь. В нагрудном кармане его чёрной куртки внушительно булькает.

– Сейчас, – решаю я. – С колбасой будете?

– Покупать на вокзале?! – ахает Наташка. – Разве можно?

– А что такого? Не бойся, не отравитесь, я часто там ем.

Ну, с сыром тебе возьму...

Афанасьич успокаивается и в метро рассказывает, что идти придётся от «Семёновской», потому что «Электрозаводская» закрыта. Раньше он довольно быстро шёл до кладбища дворами, а теперь «все эти жлобы понаставили заборов, возможно, придётся обходить», он ещё не знает как.

У выхода из «Семёновской» Афанасьич тщательно фотографирует памятник Гвардейцу Семёновского полка. Спина

доблестного петровского солдата отражается вместе с облаками в безукоризненно синем, зеркальном стекле современного здания под названием «Соколиная гора». Снаружи-то красиво, а что за дела творятся внутри этого «бизнес-центра» – неведомо. И я опять вспоминаю пыльные ялтинские окна шестидесятых, семидесятых годов. Сквозь них, несмотря на пыль, всегда было видно всё и вся. Скрывать было нечего. Честная, открытая и потому царственная бедность.

Впервые за тридцать лет я иду совершенно пустой Москвой. У проходной завода – киоск с пивом и пьяненький милиционер. Мы с Наташей покупаем пластмассовые стаканчики. «Молодцы дамочки!» – одобряет наши действия страж порядка. Оказывается, сегодня День милиции.

Обогнавший нас Афанасьич сворачивает во двор большого сталинского дома. Заборов пока нет, только бесчисленные гаражи-«ракушки». На них и на землю неслышно планируют жёлтые кленовые листья и передвигаются по ребристым крышам и асфальту со слабым шуршанием. Под аркой подворотни, в которую только что свернул Афанасьич, старик торгует всякой всячиной, разложенной на газете: старые замки, железки, провода, сушёная вобла, банка огурцов... И цветы – мелкие, сиреневые, с жёлтыми серединками.

– Наташа, это астры такие?

– Не знаю, наверно. Самые кладбищенские цветочки...

– Да, многолетние астры, «сентябринки» называются.

Возьмёте? – спрашивает старик.

– Конечно, возьмём. И будем класть по цветочку на могилы.

– У тебя там знакомые? – удивляется Наташа.

– И у тебя тоже. Поэт Дмитрий Кедрин, например, потом Васнецовы, Пришвин... Забыла? Афанасьич же предупредал.

Пока мы покупали «сентябринки», Афанасьич успел далеко уйти. Он очень быстро ходит, хотя вроде бы вразвалку, по-медвежьи. Его чёрная куртка размахивает рукавами на фоне пронзительно жёлтых клёнов. За Андрюшей гонится свора собак и вдруг круто поворачивает и с лаем мчит прямо на меня.

– Эй, друзья, вы чего?

«Друзья» требовательно гавкают.

– Это они бутерброды учуяли, – догадывается Наташа.

– Ну нет, уважаемые, нам ещё Афанасьича кормить.

Мы ускоряем шаг. Тянет дымком от тлеющих листьев. Люблю этот запах. Запах московской осени. Афанасьич великодушно останавливается, поджидая нас.

– Как же мне нравятся сталинские дома! – говорит он, взмахивая обеими руками, отчего в его нагрудном кармане опять булькает. – Какая архитектура! Какое время! Ведь это... царская эпоха! Я – сталинист!

– Ты же говорил, что ты монархист, – напоминает Наташа.

– Да, и монархист! А в чём тут противоречие? Одно другому не мешает! – взрывается Афанасьич. – Ты бы в свой

чёртов ящик поменьше пялилась, вам там мозги-то проком-
постируют...

– А вы так и живёте без телевизора? – спрашиваю я. –
Татьяна твоя не скучает?

Татьяна, жена Андрея, учительница русского и литерату-
ры, недавно вышла на пенсию.

– Ещё чего – телевизор! – кипит Афанасьич. – Чтоб этот
ваш, как его, Сванидзе, ещё истории меня учил! Они будут
учить меня истории моей страны! Татьяна – молодец, это
благодаря ей как раз, если бы не она, я соблазнился бы чего
доброго на гадость какую-нибудь...

– Да уж ты бы соблазнился, – хмыкает Наташа.

– Да я – монархист и сталинист! – опять вопит, развора-
чиваясь к ней, Афанасьич. – Это вот из-за таких как ты ку-
риц мы и попали в это дерьмо, в жлобство это! Двадцать лет
сидим все в заднице, народ скурвился...

– Знаешь что, Андрей, – Наташка делает вид, что обиде-
лась, – тебе никто не давал права меня оскорблять...

– А я согласна с Андрюшей, – говорю я. – Та эпоха была
действительно великой, царской, лучше не скажешь.

– Вот именно, – оживляется Афанасьич. – Ты не сердись,
Наташка, я ведь любя... Да, царская эпоха в том смысле, что
каждый рабочий на этом заводе, каждый дворник вот в этом
дворе чувствовал себя человеком, царём! И дело своё испол-
нял по-царски, с достоинством. Ведь в этих домах велико-
лепных с колоннами, с лепниной жили простые люди. Ко-

нечно, годами стояли в очередях на жильё, но получали же, квартплата – копейки... Работа у всех была, никто не голодал, путёвки летом бесплатные в Сочи, в Ялту твою...

3

У меня перед глазами опять встаёт ялтинская зима. Или осень. По сравнению с летом почти ничего не изменилось – всё вокруг вечнозелёное. Только кипарисы сильнее, рыжее золотятся на солнце, да воздух глубже, синее, насыщеннее. Мы с мамой на улице Санаторной, во дворе санатория «Энергетик». Тихая Санаторная – одна из двух моих любимых ялтинских улиц. Вторую улицу, Морскую, я полюбила за то, что она напоминала мне Италию, никогда не виданную Геную. Мне было десять лет, я прочитала «Сказки об Италии» Горького. Братом, родным братом, был мне нищий итальянский мальчик, склонившийся с обросшего водорослями круглого, горячего камня в прозрачную сине-зелёную морскую воду – всю в солнечных бликах, как рыба в золотой чешуе... “O, sole mio!..” И дедом был мне старый столяр Джузеппе, говоривший: «Наши дети будут лучше нас, и жить им будет лучше». «Очень многие верят ему», – написал Горький. Я не просто верила – для меня это было непреложным законом жизни. К ним, родным и любимым итальянцам, я приходила на Морскую, в которую упирается одним концом моя улица Чехова. Стоило повернуть за угол – и слепит глаза

морская синь, над ней сияет почти такое же, только чуть по-светлей, синее небо, и чайкой зависает меж морем и небом строительный кран в порту и соперничает с солнцем своим оранжевым, апельсинным цветом. А Санаторная, переименованная потом в улицу Пальмиро Тольятти в честь итальянского коммуниста – снова Италия! – с другого конца моей Чеховки, только Боткинскую перейти. И я почти не удивилась, когда в воспоминаниях Владислава Ходасевича прочитала, что молодой Горький снимал комнату в нашем доме на Виноградской 19, теперь улице Чехова.

А на Санаторной улице, в тихом дворе «Энергетика», около хозяйственных служб – котлы, баки, бидоны, газовые баллоны – мама вступала в дружески-деловые отношения с Николай-Иванычем, садовником санатория. Он был ростом с меня, десятилетнюю, худенький старичок с глазами-щёлочками, редкими седыми волосёнками на голове, похожей на сморщенную грушу. Из середины подбородка свисало несколько таких же тонких седых волосков. Кажется, Николай Иванович не брился – нечего было. Мама приходила к нему консультироваться по поводу растений – в педучилище она вела предмет под названием «Основы сельского хозяйства» и отвечала за озеленение территории. Всё время разговора Николай Иваныч озабоченно скрёб цапкой сухую землю, то и дело, зорко взглянув «щёлочками», отбежал сорвать засохший листок...

– Николай Иваныч, здесь-то, на хоздворе зачем так тща-

тельно? – спросила мама. – От вас ведь не требуют...

– Что вы, Ольга Михайловна! Разве можно?! Здесь тоже могут пройти отдыхающие!

Николай Иванович и был царём той самой ушедшей царской эпохи, о которой сейчас кричит Андрюшка.

– Николай Иванович – эвенк, – рассказывала мама. – Нет, кажется, не эвенк, а из каких-то совсем малочисленных сибирских народов... Закончил лесной техникум, занимался своей тайгой в глухом сибирском краю, получил путёвку в наш «Энергетик»...

– У него был туберкулёз?

– Нет, зачем же? Это до войны «Энергетик» был туберкулёзным санаторием, может быть, ещё в конце сороковых... А потом весь туберкулёз вывели, ялтинские санатории перепрофилировали: органы движения, нервная система, почки... Николай Иванович приехал в середине пятидесятых. И влюбился в медсестру! Женился, но не везти же ялтинскую женщину в тайгу. Вот и остался здесь садовником, по специальности...

...И растил вечнозелёные кустарники – самшит, бересклет, заботливо подрезал дерзкие, вызывающе благоуханные розы, обкапывал олеандры с махровыми цветами, будто свёрнутыми из белой и розовой папиросной бумаги, поливал из шланга клумбы, благоговейно сдувал каждую пылинку с дорожек парка: «Здесь могут пройти отдыхающие!»...

А Афанасьич продолжает шуметь, широко шагая, загре-

бая на ходу здоровенными, длинными ручищами:

– Каждый человек, ты понимаешь, каждый, чувствовал себя царём! По-царски отвечал за своё дело! Потому что была ответственность! Пусть «винтик», да! Но каждый осознавал, что без него, без этого винтика всё развалится...

– Андрей, а репрессии? – вставляет Наташка, делая умное лицо.

– Конечно, были, всё было, и кровь, и несправедливость – кто ж отрицает? У меня самого деда раскулачили и дядю... Сослали в Казахстан, а ведь могли и шлёпнуть. Только знаешь, я сильно подозреваю, что на девяносто процентов, если не больше, во всём этом виноваты жлобы, которые до сих пор не перевелись, повылезали теперь из всех щелей... Завидовали, стучали, доносили, подсиживали, чтоб тёплое местечко занять... Что, скажешь, Иосиф Виссарионыч лично всё подписывал? Да даже если бы лично! Не нам, просравшим великую страну, судить людей, которые из крови, из грязи эту страну подняли, из руин, из ничего, из небытия!.. Победить в такой войне! Мы же против всего мира в одиночку воевали... И теперь нашу великую войну эти манкурты смеют «второй мировой» называть? Мы что – поляки, румыны? Для нас она – Великая Отечественная! Навсегда!

– Хорошо, хорошо, только не надо так кричать...

Кричать как раз можно – на улице никого. Пахнет дымом и, неслышно кружа, с самых нижних ветвей опускаются на землю кленовые листья. Уже последние – все верхушки дав-

но облетели. Торжественная и неспешная московская осень.

Такой же поздней осенью сорок лет назад мы с родителями смотрели в ялтинском кинотеатре фильм «Освобождение». Я теперь помню только, что Жукова там играл Михаил Ульянов. Но навсегда врезалось в память происходившее не на экране, а в зале. Через несколько рядов от нас сидела компания немолодых людей – пять-шесть мужчин, две или три женщины. Фронтовики. Наверное, был праздник, седьмое ноября, потому что все мужчины были с орденами и медалями на пиджаках, а женщины – с аккуратными орденскими планками на нарядных, модных тогда кримпленовых платьях. Конечно, они только мне казались немолодыми. А на самом деле каждому из них тогда, в семидесятом, должно быть, было не больше пятидесяти. Всякий раз, когда на экране появлялся Сталин, они аплодировали. Все в зале посматривали на них одобрительно, а некоторые, как мне показалось, даже с лёгкой и доброй завистью. Я видела, что моим родителям тоже хочется присоединиться к коротким и дружным, как салют, хлопкам. Но они этого не делали. «Считают себя не вправе, – догадалась я, – потому что не воевали, они были во время войны подростками». Папа, потерявший отца, скитался под непрерывными бомбёжками в Сталинградской области, а мама оставалась в оккупированной Ялте. Люди в кинотеатре, бывшие на пять-шесть лет старше моих родителей, аплодировали своей боевой молодости, памяти погибших товарищей, великому подвигу своей страны – и оли-

цетворял всё это не Георгий Жуков, а почему-то именно Сталин. Впрочем, и тогда, и позднее у меня не возникало вопроса «почему». Нас правильно учили истории: и в учебниках всё было написано, и учителя рассказывали: о сталинских репрессиях, о предательстве Власова, о хрущёвском волюнтаризме, но спокойно, сдержанно, с достоинством, без истерики и проклятий.

4

Внезапно в глаза бьёт яркий свет. Это утреннее солнце вывернулось из-за остроконечной красно-кирпичной ограды. Мы пришли. К воротам Введенского кладбища примыкает двухэтажное, выкрашенное в розовый цвет здание с высоким цоколем и такими же, что и на воротах, готическими башенками на крыше.

– Андрюша, а когда это построено? – вопрошает Наталья.

– А ты не видишь? Псевдоготика с элементами модерна, значит, начало двадцатого века... Вот же он, удар хлыста! – Афанасьич указывает на линию, повторяющуюся в чугунном узоре ворот. – Впрочем, я не искусствовед...

Действительно, «удар хлыста» – плавные волнообразные линии неожиданно заканчиваются как удар, точным и хлёстким завитком.

– Ой, правда, тысяча девятьсот седьмой год, – радуется Наташка, указывая на висящую на доме мемориальную дос-

ку.

А внутри, за воротами – и вовсе чудеса! Я никогда не видела такого крыльца – к «псевдоготическому» дому прилеплен вход в сказочный русский терем. Такой мог бы красоваться на острове Буяне, например. Каменные перила – как удар хлыста или морской волны, с размаху вlepляющей в берег свою удальски закрученную пенную завитушку, а линия под лестницей так выгнута, что кажется, крылечко заваливается или наоборот, торопливо забегаёт вперёд, или едет как печь с Емелей. А над крыльцом висится готическая башенка – печная труба!

– Ну, хватит, полюбовались, – торопит Афанасьич, – всё это, конечно, прекрасно, но мы здесь не за этим.

– А зачем же?

Оказывается, надо отыскать могилу Алексеевых, родителей Константина Сергеевича Станиславского. Их захоронение в числе многих других было перенесено из центра Москвы на это первоначально немецкое, протестантское кладбище.

– Выберите себе по дорожке, идите и внимательно смотрите, увидите что-нибудь интересное – кричите. И всё нас интересующее фотографируйте, – распоряжается Андрей.

– А что нас интересует?

– Многое, – отмахивается Афанасьич, – потом расскажу. Экскурсия потом.

Мы бредём по узким дорожкам. Одно из двух – либо я

давно не была на природе, либо здесь, на кладбище особый климат. Над нами совершенно голые ветви деревьев, а под ногами палитра красок. Ну, положим, опавшие листья всех цветов и оттенков на дорожках и могилах – это понятно. Палевые, бронзовые, ржавые, золотые, лимонные и яично-жёлтые, красные, розовые, багряные, почти фиолетовые. А вот откуда столько яркой и сочной зелени? Широкие тёмно-зелёные листья неизвестного мне растения, округлые листочки декоративных кустарников салатого цвета, мелкие и густые иголочки какой-то красивой, тоже явно декоративной травы, из тех, которыми украшают букеты, да и обычная трава ещё зелена и свежа. И такой мягкий, нежно-зелёный мох у подножия памятника «генераль-майору Владимиру Ивановичу Ромеру полковнику лейб-гвардии Уланского ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полка»... А внизу, над изумрудной полоской мха эта же надпись повторяется по-французски: «Général VLADIMIR de RÖMER...»

– Смотрите, – зовёт Наташа со своей дорожки.

Большой гранитный памятник, круглое углубление для фотографии, к сожалению, пусто, а вот надпись, как и на памятнике генералу Ромеру, будто вчера выбита и закрашена сусальным золотом:

Аптекарь

Иванъ Ивановичъ Келлеръ

Почетный членъ Московскаго фармацевтическаго общества

Скончался 7 Января 1901 г. на 63 г. жизни.

– А, Иван Иванович, – приветливо говорит Афанасьич, – у него аптека на Мясницкой была. Завещал десять тысяч на учреждение четырех стипендий для аптекарских помощников, тогда это колоссальные деньги были.

– И откуда ты всё знаешь? – изумляется Наташа. – А я-то сначала подумала, что Аптекарь – это фамилия.

– Да, так не часто профессию перед фамилией указывают, наверно, он очень гордился своим аптекарским званием.

– А что, Андрюша, ведь это правильно? Написать бы на твоём памятнике – Учитель, а? Лет через пятьдесят, конечно, не раньше, тьфу-тьфу-тьфу! – Наташка плюет через левое плечо и тут же мелко крестится.

– Неправильно, – насупливается Афанасьич.

– Почему это?

– Потому что все будут думать, что Учитель – это фамилия такая. Режиссёра этого, который про Бунина порнуху снял...

– Ты же не смотришь телевизор!

– А я и не видел. Татьяна жаловалась, говорит, про Бунина детям невозможно стало рассказывать, ржут, хихикают...

– Ну, знаешь, это ещё продвинутые дети, если такие filmy смотрят, хуже, когда всё «до фени», – вмешиваюсь я. – И потом, если это и порнография, то не непосредственная, а духовная, что ли... А вообще-то интересно, завлекательно, артисты хорошие, все так похожи, и вроде всё правда. Ду-

ня Смирнова – сценарист, кажется, ничего не перевернула, всё точно по дневникам жены Бунина, Веры Николаевны...

– А духовная порнуха что – лучше по-твоему? Ещё хуже! Не-прости-тельнее! – отчеканивает Андрей. – Самую скверную правду можно и нужно рассказывать, но любую грязь настоящий художник опишет так целомудренно, что и детям не стыдно показать. Вот мы тут с Таней Гайто Газданова читали, это эмигрантский писатель, ровесник Набокова, Гайто – потому что осетин, но он любил, чтоб его Георгий-Иванычем звали...

Андрей поворачивается ко мне, берёт меня за пуговицу куртки и начинает втолковывать, как на уроке:

– Вообще, удивительная судьба, уди-ви-тельная! Он мальчишкой пятнадцатилетним на фронт ушёл, за «белых» воёвал, а всю вторую войну – во французском Сопротивлении. У него роман есть «Ночные дороги», он ведь почти всю жизнь ночным таксистом в Париже проработал. Роман о самом дне парижском, про бандюг всяких, пьяниц, проституток, а посвящён его жене! И это настолько чисто... Нет, ты лучше сама почитай, это тебе не «Лолита» какая-нибудь! Ведь чем талантливее описана мерзость, тем отвратительнее, потому что зло этим как бы оправдывается, получает право на существование... Да ладно, ну их, этих порнографов! Ищем Алексеевых.

Вместо Алексеевых я сразу натываюсь на необычный памятник – в овале фотография целого семейства. Папа, мама

и восемь детей – два юноши в строгих костюмах при галстуках, три девочки в одинаковых костюмчиках с матросскими воротниками, девочка помладше – в светлом платьице с бантом, и ещё два совсем маленьких ребёнка – не поймёшь, какого пола. Хотя если взглядеться внимательнее, видно, что ребёнок постарше – девочка, а самый младший, очень серьёзный, сидящий на коленях у папы – мальчик. За спиной семейства – большая картина, такими в начале века принято было украшать фотоателье. Над головами старших сыновей клубятся по небу, стелятся по самой земле тёмные тучи, как предчувствие будущих гроз и пожарищ. Под фотографией фамилия – Бенюш. И всё. Несомненно, что эту фотографию уже в недавние времена поместили на памятник родственники, скорее всего, внуки этих девочек. А братья... Вряд ли они успели жениться, вряд ли пережили войны и революции... Написать бы о каждом, о каждой судьбе... У памятника семье Бенюш – ворох бронзовых дубовых листьев и свернувшийся кольцом стебель растущего здесь папоротника с длинными зелёными листьями.

И ещё примечательный памятник. На граните выбит крест, в овале фотография – Ли-Чу Феоктиста Филипповна и Иван Иванович. Оба супруга родились в конце девятнадцатого века и дожили до середины восьмидесятых годов века двадцатого. Немного дородная, несмотря на молодость, Феоктиста Филипповна в белой блузке с отложным воротником могла бы быть дочкой кустодиевской купчихи: спокой-

ный ясный взгляд, широкое русское лицо, но уже короткая стрижка – двадцатые годы. А Иван Иванович Ли-Чу – бра- вый парень и немножко франт, в чёрной рубашке с белым галстуком, стоит за спиной жены, молодецки подбоченясь. А на памятнике рядом – другая китайская фамилия, русские имена-отчества и православный крест. Кто это из пугающих нас китайской экспансией заявляет, что китайцы якобы никогда не ассимилируются, везде остаются китайцами? Ерунда! Впрочем, пусть остаются кем хотят, лишь бы на нашем языке хорошо говорили и любили его, и тогда... Тогда всё хорошо будет.

Я вновь стою перед семейным памятником. «Тельповы» – выбито посередине высокой гранитной плиты. Надежда Герасимовна и Алексей Иванович тысяча девятьсот третьего года рождения, Виктор, родившийся в двадцать шестом году... Отчества Виктора и даты его смерти не видно – закрывают свешивающиеся с верха плиты пластмассовые ромашки. Всего же на памятнике четыре бронзовых барельефа и две фотографии. Чуть скуластые, похожие друг на друга, простые и мужественные лица – моряк в бескозырке с пятиконечной звездой, парень в бушлате с белым меховым воротником и в будёновке. На будёновке, разумеется, тоже звезда. И большой крест в центре, осеняющий, благословляющий и этих людей, и эти звёзды, и надпись: «Мы всегда помним вас, погибшие воины». А внизу, у подножия памятника – живые, свежие бело-розовые георгины. Значит, дети

или внуки Тельповых только что здесь были. Как это здорово! Я кладу рядом с георгинами несколько сиреневых «сентябринок» – от нас.

– Девчонки, идите сюда! – зовёт Андрей.

Мы пробираемся меж огромных мраморных ваз и скорбящих дев со склонёнными головами. Афанасьич стоит у памятника лётчику. К самолётному пропеллеру с красными лопастями привинчена доска: «Букин Александр Макарович 1892–1934». И фотография – открытое молодое лицо, весёлые смелые глаза. Я некстати вспоминаю дурацкий телевизионный сериал про семейку Букиных и пугаюсь, что ещё, не дай Бог, Наташка ляпнет, расстроит Афанасьича. Хватит уж нам на сегодня «Дуниного Бунина»! Но Наташа, видно, заподозрила то же самое в отношении меня, потому что она ловит мой взгляд и тихонько покачивает головой, незаметно поднося указательный палец к губам.

– Вот они, сталинские соколы! – говорит Афанасьич нежно и в то же время торжественно и твёрдо. – Как же я их люблю!

– Да, дедушки наши, – вздыхает Наташа.

– А у тебя что, дед лётчиком был?

– Нет, один в пехоте погиб, а другой в танке сгорел под Сталинградом, но всё равно...

– Конечно, всё равно! – с горячностью говорит Андрюша. – Они все соколы, деды наши! Как же мы виноваты перед ними...

Мой дед Анатолий Сергеевич Яблонский тоже погиб под Сталинградом, хотя не успел попасть ни в пехоту, ни в другие войска. Деда долго не брали на фронт, потому что он был едва ли не единственным медиком в станице – фельдшером и заведующим аптекой. А он, разумеется, рвался воевать, как и все тогда, стар и млад. Когда наконец пришла долгожданная повестка и вся семья сидела за прощальной трапезой, началась бомбёжка... Шестьдесят семь лет назад фашистский стервятник в одно страшное мгновение отнял у меня и деда, и дядю. Моему дяде, Леониду Яблонскому, было девять лет. Боюсь, их могил уже не отыскать в степи между Доном, Хопром и Волгой. Земля моих предков и сегодня искорёжена воронками, изуродована тоннами расплавленного металла, до сих пор – в незаживающих ранах войны...

И, конечно же, настоящим сталинским соколом был дядя моей мамы Всеволод Никитич Громачевский. Нет, он не был лётчиком, более того, ему, как и деду Анатолию, не довелось воевать ни одного дня. И всё-таки он – именно сталинский сокол. Мой двоюродный дед – знаменитый селекционер и гордость Кубани, но сведения о нём в Интернете оказались неточными. Там очень подробно описаны выведенные им сорта высокоурожайной озимой пшеницы и несравненного зимостойкого ячменя. Сообщается, что Громачев-

ский был удостоен какой-то «малой золотой медали» в сороковом году, потом были ещё ордена и медали, а в сорок восьмом ему было «присуждено звание лауреата Государственной премии». Это весьма странно, потому что по воспоминаниям академика В. М. Шевцова с присуждением Государственной премии Всеволода Никитича поздравил телеграммой сам Николай Иванович Вавилов, с которым мой дед дружил. Но как мог арестованный в августе сорокового и погибший в сорок третьем году Вавилов поздравлять деда в сорок восьмом? Да и мама рассказывала, что «Сталинскую премию дядя Всеволод получил перед самой войной»...

– Да всё понятно с твоим дедом, – нетерпеливо перебивает Афанасьич. – Сталинская премия была учреждена в декабре тридцать девятого в ознаменование шестидесятилетия Сталина. А при Хрущёве дипломы и знаки Сталинских премий разных степеней заменяли дипломами и почётными знаками лауреата Государственной премии СССР. Само название Сталинской премии заменяли на Государственную, информацию о ней и её лауреатах выдавали дозированно, мистифицировали всячески... Конечно, он в сороковом году её получил! А в сорок восьмом или какую-нибудь другую премию дали, или ту, сорокового года, подтвердили дипломом. В этом разобраться надо... Кстати, деньги на Сталинские премии брались из гонораров Сталина от издания его книг, а вовсе не выделялись из государственных средств, так что никакая она не Государственная.

– Тогда я вам расскажу со слов мамы, а не так, как в Интернете, там же официальная биография, в конце пятидесятих написана. И тоже, кстати, много неверного. Например, там пишут, что дед «был четвёртым, самым младшим ребёнком в семье сельского священника», а на самом деле, и это я точно знаю, даже фотографии сохранились, был ещё пятый ребёнок, Николай, его в начале тридцатых расстреляли как поповича. А он даже образования не успел получить как старшие братья, только гимназию окончил, бабушка рассказывала – самый способный был, знал много языков. Он бухгалтером работал...

– Ну конечно, и какая-то сволочь позарилась на его бухгалтерское место, а теперь всё валят на Сталина – очень удобно. Да, одна надежда на семейные предания. Рассказывай!

Я рассказываю друзьям, что Всеволод Никитич, которому в сорок первом исполнилось пятьдесят, тоже рвался на фронт. Но в военкомате сказали: «Нам важнее накормить хлебом тысячу солдат, чем поставить под ружьё тысячу первого». Тогда дед написал Сталину, просил отправить его на фронт, а премию использовать для нужд обороны. Воевать деда Всеволода всё равно не пустили, и он всю войну проработал на опытной станции, но последняя просьба была уважена. Сталин лично прислал телеграмму, в которой благодарил и сообщал, что на премиальные деньги будет построен самолёт. Так разве мой дед – не сталинский сокол?

– Правда, про самолёт я знаю только со слов мамы. В Интернете об этой телеграмме, конечно, ничего нет.

– А ведь, возможно, именно она спасла твоего деда от посадки, – говорит Наташа. – Могли, могли посадить, он же с Вавиловым дружил.

– Может быть, хотя он и с Лысенко на одном курсе учился в Киевском политехническом институте, на сельскохозяйственном отделении, и работал одно время вместе с ним на опытной станции. Но он не любил его, авантюристом считал, а Вавилова, говорят, боготворил...

Наверное, не стоит хвастаться, что легендарная лётчица Марина Раскова – тоже наша дальняя родственница. Совсем дальняя, как говорила мама, «седьмая вода на киселе». Рассказать хотя бы о моих родных и двоюродных дедах и бабушках, некоторых из которых мне посчастливилось запомнить живыми.

Мои деды и бабушки – старые русские интеллигенты, должно быть, только чудом, промыслом Божиим уцелевшие в революциях и войнах. Вот они смотрят на меня с фотографий пятьдесят пятого года. Я ещё не родилась, ещё не срублена глициния, оплетающая нашу деревянную веранду, и они все ещё живы, сидят на скамеечке у колоннады на набережной или стоят рядком в ялтинском дворе, в том самом, где совсем недавно, каких-то шестьдесят лет тому назад жил Горький, по-приятельски заходил к нему Чехов... Два брата – старший Борис и младший Всеволод, две сестры – Со-

фия и Надежда, и муж Софии – Михаил Иосифович с вислыми седыми усами, в долгополом габардиновом пальто и светлой летней шляпе. Борис Никитич – с аккуратной седой бородкой, в шинели с погонами и блестящими пуговицами, на фуражке – скрещенные молоточки, он служил врачом по железнодорожному ведомству. Всеволод Никитич – самый молодой из них, в кепке на лысой голове, с добродушным простецким лицом колхозного агронома, несмотря на то, что доктор наук. Моя темноглазая и чернобровая бабушка Соня, говорят, я похожа на неё. И бабушка Надя – седоватые кудряшки выбиваются из-под берета, в руках элегантный ридикюль. Она статная, высокая, намного выше сестры, вровень с братьями и только на полголовы ниже моего дедушки Миши, совсем уж высоченного по тем временам – метр восемьдесят пять.

И сохранилась маленькая карточка, на обороте почерком Всеволода карандашом: «Войтовка. Пасха 1905 г.». Мой прадед Никита Себастьянович Громачевский, широкобородый поп в светлой праздничной рясе с большим крестом на груди, и его дети. Старший Борис – в студенческой тужурке, приехал на каникулы из Германии, где он учился медицине. Всеволод – будущий лауреат премий, а пока – улыбочивый гимназист. Надя – совсем юная, в белом чепце на стриженной голове после перенесённого тифа, и чуть постарше – Соня, учительница, и её молодой муж Михаил в офицерских погонах, студент-химик, в будущем – военный инженер.

Помню, как мама сердилась на свою двоюродную сестру, Елену Всеволодовну. В перестройку, когда заговорили о возможном возвращении отнятой в революцию недвижимости, моя тётка Лена вспомнила, что Никите Себастьяновичу принадлежал большой дом в деревне Войтовка Винницкой области: «Может, попробовать вернуть? Мы же наследники!» Это, как сказал бы Афанасьич, «жлобское» предложение вызвало гневный отпор со стороны мамы и дяди Бори, сына Надежды Никитичны.

– Этот дом столько лет Советская власть поддерживала, сохраняла! Он до сих пор людям служит, детям! Там же школа, библиотека, – возмущалась мама. – Какие мы наследники! Позор! И Боря так же считает.

Правда, они вскоре простили сестру:

– Она молодая, легкомысленная...

В начале перестройки тётке Лене было под пятьдесят, как мне сейчас.

– В самом деле, – думаю я, бродя меж могил Введенского кладбища в поисках могилы родителей Станиславского. – Какие мы наследники, то есть мы наследники, конечно, только не домов, а чего-то большего... Мы же не прибалты какие-нибудь, прости Господи, которые выгнали из квартиры великую актрису Вию Артмане, потому что объявился прежний владелец.

Пожалуй, сталинским соколом, как это ни парадоксально, был и мой родной дед Михаил Иосифович Андреев, мамин отец. Он, как и его супруга София Никитична, происходил из духовного сословия – правнук священника и внук дьякона. Похоже, в роду Андреевых религиозность оскудевала из поколения в поколение: Иосиф Андреев предпочёл должность мелкого чиновника, сопровождал почтовые вагоны по железной дороге, а Михаил Иосифович и вовсе увлекался толстовством. Не сильно, впрочем. Кажется, толстовство моего деда было не более чем данью студенческой моде того времени. Но всё же когда бабушка подавала мясное блюдо, дед Миша со свойственным ему мягким юмором непременно цитировал Овидия:

«Чем провинился ты, вол, предназначенный людям на помощь,
Ты, безответно покорный товарищ и друг хлебопашца?»

Дед родился в Курске в 1881 году, но вскоре его отца перевели служить в Бессарабию. Теперь это называется Приднестровьем: Бендеры, Дубоссары... Семья была большая и, разумеется, небогатая: восемь детей.

– Михайло, утонешь – домой не приходи! – примерно так напутствовали родители старшего сына, с утра убежавшего

на быстрый порожистый Днестр.

У бессарабских мальчишек конца девятнадцатого века была опасная забава и отчасти промысел: воровать виноград у богатых молдаван на другом берегу реки. Воришек почти всегда ловили, кажется, поимка даже входила в правила игры, а может, была частью некоего кодекса чести. Если застигнутому парню удавалось переплыть Днестр с тяжёлой кистью винограда в руке так, чтобы на виноград не попало ни капли, хозяева виноградника щедро награждали его вином и отпускали как почётного гостя. Если же кисть оказывалась намокшей, мальчика избивали до смерти. Мой дед переплывал Днестр многократно, был он высоким, сильным и, как это часто бывает, необыкновенно мягким и добрым человеком.

В Кишинёве, в реальном училище дедушка Миша учился на одном курсе с Григорием Котовским. Правда, Котовского отчислили из реального всего месяца через три после начала учёбы, и дед всю жизнь добродушно посмеивался над легендами, которыми окружали личность его однокурсника в советское время: Гришку выгнали за хулиганство и грабежи огородов, а отнюдь не за революционную деятельность. А дед успешно окончил реальное училище, потом школу прапорщиков в Киеве, потом – по настоянию бабушки – Киевский политехнический институт. Специальность – фаянс, фарфор, черепица. Сохранилась семейная легенда о его дипломной работе – черепице для крыши, заказанной купцом.

– Вот брошу камень, если не расколется, беру, – заявил

самодур-заказчик.

Конечно, любая черепица раскололась бы, но камень чудом попал в ребро. С молодым инженером щедро расплатились, были даны лучшие рекомендации. Карьера складывалась удачно: революция застала деда в чине капитана на военном заводе в Саратове. Оттуда они с бабушкой и драпали от большевиков аж до Читы. Шутка ли – капитан царской армии, женат на поповне! Но дед отказался эмигрировать с белочехами, вернулся в Киев, снова работал на химических заводах и каждый день ожидал ареста. В тридцать седьмом, когда пересажали почти всё руководство завода, где дед был главным технологом, они срочно уехали-сбежали в Ялту. Почему в Ялту? Просто именно там в это время жила бабушкина сестра Надежда Никитична с семьёй. У её мужа, который тоже был инженером, открылся туберкулёз. Его быстро вылечили, родственники переехали в Симферополь, а наша семья осталась в Ялте. Мой дед как всегда работал в нескольких местах: в химической лаборатории, в знаменитом институте виноделия и виноградарства «Магарач», на метеостанции, преподавал химию в техникуме. Последнее обстоятельство его и спасло.

Когда началась война, деду было шестьдесят лет. Он, как и все инженеры «из бывших», великолепно говорил по-немецки и поначалу с надеждой воспринял появление в Ялте немцев, тем более, в основном это были румыны. А они-то и вовсе были родными моему деду, выросшему в Бессарабии.

Ялтинская интеллигенция была приглашена на собрание в театр Чехова. Дед пошёл и через полчаса вернулся... советским человеком. «Лучше свой супостат, чем чужие!» – заявил он испуганной бабушке. Глупые прямолинейные немцы поздравили «русских свиней» с предоставленной им замечательной возможностью поработать на «великий Рейх».

В течение всей оккупации дед отговаривался от работы «на Рейх» тем, что он якобы не инженер, а учитель. Конечно, никакие отговорки не помогли бы, если б гнать деда на работу приходили не румынские офицеры, а немцы. А румынам Михаил Иосифович по-румынски же рассказывал, как он учился «в Кишинэу» в реальном училище, и умилённый офицер, уходя, пожимал деду руку и советовал быть осторожнее. О том, как осторожен был дедушка Миша в оккупированной Ялте, я узнала случайно, уже будучи взрослой.

Мама много рассказывала мне о войне, о том, как в оккупацию они не умерли с голоду потому, что дедушка ездил по Крыму с тачкой – менял на продукты серебряные ложки и книги, о том, как всех ялтинцев грело и поддерживало присутствие рядом, в Аутке, Марии Павловны, сестры Чехова, о том, что никто ни одной секунды не сомневался в нашей победе... И только о подвиге своего отца почему-то никогда не говорила и только в восемьдесят четвёртом году, познакомив меня со своей приятельницей, нечаянно обмолвилась: «Риту ведь тоже твой дедушка спас...» Тётя Рита, Маргарита Константиновна, бывшая несколькими годами старше мамы,

перед войной училась у моего деда в техникуме. Она была еврейкой, одной из тех, кого деду удалось спасти. Подполов и чердаков в центре Ялты не было. Дед шёл к бургомистру – или как там называлась их канцелярия – и подписывал бумагу о том, что он, такой-то, «русский, православный, свидетельствует и ручается», что данное лицо не еврей, а немец, если фамилия была немецкой, или поляк, если фамилия была польской, потому что он, как учитель, хорошо знает эту семью.

– И что, много было таких как тётя Рита? – спросила я.

– Достаточно, но мы с твоей бабушкой не то что не считали, а вообще старались об этом не думать. Очень страшно было. Если бы раскрылось...

– А бабушка не пыталась препятствовать этой деятельности? – сдуру брякнула я и тут же устыдилась.

– Да как тут препятствовать, ведь совесть замучит, жить не сможешь, если мог спасти человека и не спас, – мама отвечала просто и буднично.

С освобождением Крыма страхи мамы и бабушки не закончились. Могли донести, что Андреев часто посещал немецкую канцелярию, кто знает с какими целями. Опасения усугублялись тем, что в день ухода румынских частей из Ялты моим дедом был сделан, казалось бы, совершенно бесполезный и опрометчивый демонстративный жест.

Мама хорошо запомнила этот день. Вдоль нашей улицы понуро шли румынские солдаты, понимали, что идут на

смерть. А жители – русские и греки – стояли во дворах и молча смотрели вслед. Неожиданно вышел мой дед и перекрестил уходящих румын широким православным крестом. Многие заплакали. А бабушка... Она только рукой махнула и пошла собирать для деда узелок.

Действительно, очень скоро, чудесным летним утром сорок четвёртого года в нашем дворе появился «воронка». Горлинки в кронах старых акаций курлыкали так, как будто не было ни оккупации, ни голода, ни бомбёжек, как будто совсем недавно не раскачивались на набережной тела казнённых крымских партизан...

– Андреев? Михаил Иосифович? Вам придётся поехать с нами.

Дед взял приготовленный узелок, простился с семьёй, соседями – было часов шесть утра, и ялтинский двор уже жил обычной летней жизнью. «Энкаведэшник» терпеливо ждал у машины.

Ко всеобщему изумлению и ликованию вечером деда привезли домой, почтительно высадили из «воронка», пожали руку... Оказалось, наши прекрасно знали, что дед – инженер-технолог по фаянсу, фарфору и черепице, и возили его в Ливадию для помощи сапёрам – немцы, уходя, заминировали Ливадийский дворец. Так мой дед, бывший капитан царской армии, несколько недель провёл на крыше летнего дома Романовых, вместе с другими специалистами готовил дворец к Ялтинской конференции. Дóма недоумённо рассказы-

вал, что у «этих мальчишек», сорокалетних инженеров от высоты почему-то кружится голова...

В шестьдесят втором году он умирал в больнице от воспаления лёгких. «Вы хоть понимаете, что ваш старик – святой?» – строго спросил моих родителей пожилой рабочий, лежавший с дедом в одной палате.

7

Мы продолжаем искать могилу Алексеевых, родителей Станиславского. А небо над Введенским кладбищем просто невыносимой синевы. Голые ветви деревьев по-весеннему тянутся к солнцу, радостно чирикают воробьи, то и дело золотом взблёскивает в прозрачной сини ещё один не захотевший слететь ясеневый или кленовый лист. А рябины-то – действительно коралловые, как написал о них Бунин в «Антоновских яблоках». Я редко бываю на природе и поэтому думала, что сравнение с кораллом уж слишком экзотично. Нет, всё правильно, молодец Иван Алексеевич!

Наташка уже несколько раз подзывала Афанасьича, но это оказывались могилы Алексеевых-однофамильцев. И я встречаю своих однофамильцев – Андреевых и даже одну Яблонскую А. Г. Фотографии нет, дат жизни нет, только моя фамилия на тёмно-сером в розовую искорку граните. И вдруг...

– Нашла! Нашла! Идите сюда! Скорее! – ору я хриплым,

срывающимся от волнения голосом.

– Что, Алексеевы?! – подбегает Андрей.

– Ой, правда? Не может быть, – ковыляет с другой стороны заметно уставшая Наталья, она, по-видимому, растёрла ногу.

– Да какие Алексеевы! Я нашла бабушку и дедушку моей подруги.

С невысокого памятника на нас смотрит, ласково улыбаясь, пожилая женщина в очках. Я сначала увидела этот добрый внимательный взгляд, поняла, что мы знакомы очень давно, может быть, всю жизнь, что это родной мне человек, и только потом прочитала фамилию и имя отчество – Вера Николаевна. Фамилия, кстати, не Вари, моей институтской подруги, а её папы, Владимира Георгиевича. Варя носила уютно-округлую украинскую фамилию мамы. Просто её родители так решили: у Вари будет мамина фамилия, а у Димы, младшего брата, – папина. Потому, наверное, что отцовская фамилия – редкая, необычная и могла показаться немного грубоватой, тяжеловесной для нежной, утончённой девочки. Варя рассказывала, что их фамилия, возможно, от осетинского корня, а с появлением Интернета обнаружили однофамильцы, предполагающие французское происхождение. Но это неважно! Мне и без фамилии ясно – это Варины дедушка и бабушка. Вот и дедушка Георгий Иванович в офицерском кителе с полковничьими погонями и орденскими планками – вылитый Димка, каким он будет лет через

тридцать.

Андрей с Наташей с уважением смотрят на памятник.

– А Георгий Иванович, наверно, второй муж бабушки? – спрашивает Наташа. – Фамилии-то разные...

В самом деле, а я и не заметила! У Георгия Ивановича простая русская фамилия – Гаврилов.

– Нет, – говорю я твёрдо. – Это родной дедушка Вари и Димы, они оба очень на него похожи, с Димкой – просто одно лицо. А Варя похожа и на бабушку, и на папу, Владимира Георгиевича, видите, отчество-то совпадает! И Георгий Иванович, судя по форме, военный инженер, Варя так и говорила. Сегодня же напишу ей в Америку, разберёмся.

Я бережно расчищаю могилку от опавших листьев, Наташа кладёт в изголовье несколько «сентябринок».

– Ну-с, продолжим, – бодро говорит Афанасьич.

– Андрей, ну ты что? У меня ноги отваливаются, – плаксиво тянет Наталья, – и почему мы именно в этом секторе ищем? Ты узнавал? Они точно должны быть здесь?

– Шут с вами, – сдаётся Андрюша, – идите к часовне, это мавзоль семейства Эрлангеров, работы Шехтеля, между прочим, а внутри мозаичная икона Петрова-Водкина, и вон туда заверните, видите, колоннада, там тоже мозаика. А я ещё похожу. Встречаемся у часовни.

В отличие от Наташи я не чувствую усталости и готова хоть дотемна бродить по этому замечательному кладбищу. Радость так и звенит во мне – я нашла бабушку и дедушку

моей Вари!

Колоннада оказалась надгробием Лиона Георга и Рожновой Александры Ивановны. Оба умерли в десятых годах двадцатого века. Наташа, оказывается, подготовилась к экскурсии и вычитала в Интернете, что «мозаичная картина на колоннаде выполнена в духе „Острова мёртвых“ Бёклина».

– Только сама картина намного мрачней, – рассказывает Наташа, – там действительно остров, скалы неприступные, чёрные кипарисы, Харон-перевозчик почти незаметен, главная фигура – мертвец в белом саване, от него прямо ужасом веет, а тут ничего себе, можно сказать, весёленько...

Да, пожалуй. Наверное, благодаря тому, что это только фрагмент картины, резиденция мёртвых не выглядит островом, бурное море превратилось даже не в реку Стикс, а в мирный, заросший ряской пруд, и всю панораму необыкновенно оживляют ярко-красная фреска и пояс Харона. Из-за этого перевозчик почему-то ассоциируется не с мрачным древнегреческим мифом, а с жизнелюбивыми итальянцами, с венецианским гондольером, например. И рощица пушистых, не чёрных, а ярко-зелёных кипарисов на этой мозаике такая симпатичная, уютная как крымский парк! Не далее как этим летом, когда мы с друзьями очень неплохо проводили время в кипарисовой беседке, моя одноклассница, скрипачка Ялтинской филармонии, рассказывала, что, будучи на гастролях в Италии, вдруг осознала, что совсем не видит с детства столь милых и привычных глазу пирамидальных кипа-

рисов.

– Странно, а в Греции их полно!

Оказалось, итальянцы чётко соотносят именно пирамидальный кипарис с вечным покоем, и у всех кипарисов, растущих не на кладбище, специально подрезают верхушки, лишая их этой самой пирамидальности.

– Ну, надо же! А мы с греками хоть и знаем, что кипарис – символ смерти, но почему-то совершенно не смущаемся его присутствием в повседневной жизни.

Да, похоже, что мы, православные, совсем не боимся кладбищ. Может быть потому, что лучше католиков понимаем: смерти нет, а здесь, на кладбище – ещё один дом перед будущей вечной жизнью? Наверное, поэтому мы и огораживаем могилы, как дома, оградками, и сажаем цветы, и приходим к умершим в гости на все праздники и даже на Пасху, хоть бабушки и убеждают нас пока, впрочем, безрезультатно, что это неправильно. Ну, а как иначе? Была семья, каждый день все садились за один стол, что же разлучаться в великий праздник?

На греческих кладбищах все могилы тоже обязательно в оградках, только памятники не гранитные, как у нас, а в основном беломраморные. Я рассказываю Наташе, как лет пять назад мы плавали на яхте по греческим морям:

– С одним институтским знакомым. Он давно увлекался яхтенным спортом, сдал экзамен на международный сертификат, арендует яхты в разных портах и возит друзей. За

деньги, конечно, как туристическая фирма.

Когда мы приплывали на очередной остров, я первым делом бежала на кладбище. Не подражая Антону Павловичу, а просто уже по опыту зная: там лучшая, старинная церковь, и это всегда центр города, самое высокое место, откуда, как правило, виден весь остров. На кладбище неумолчно щебетали птицы, а Афанасиусы и Герасимосы, виноградари и рыбаки, безмятежно спали за оградками под сияющими на солнце крестами. Все памятники – белые, розовые и золотые, а над ними – сливающееся с морским горизонтом счастливое синее небо. Одетые во всё чёрное сухопарые греческие старухи приветливо улыбались, с достоинством кланялись и жестами гостеприимных хозяек указывали, как пройти по заросшей тропинке к маленькой утоптанной площадке. С неё открывался великолепный вид на остров, на море, на другие, далёкие острова, плывущие, тающие в синей дымке, в дрожащем, переливающимся от зноя воздухе. Через некоторое время в калитке появлялись немного сконфуженные загорелые физиономии товарищей с яхты. Вволю посмеявшись над моим пристрастием к кладбищам, они, естественно, тоже не замедлили подняться на самый удобный для обзора холм.

8

Часовня Эрлангеров открыта, но мы почти ничего не видим – очень темно, только дышат теплом огоньки свечей.

Афанасьич сказал, что мозаичная икона «Христос-сеятель» выполнена в тех же чистых, ярко-красных и синих тонах, что и многие другие картины Петрова-Водкина.

– Кстати, у этого барона Эрлангера, мукомольного промышленника и мецената, Антон Максимович его звали, имя было в твоей Ялте. Кажется, ялтинский костёл частично и на его деньги построен, – говорит Андрей.

– И откуда ты всё знаешь?! – в который раз за сегодня восклицает Наташа.

А я уже почти не удивляюсь ни познаниям Андрюши, ни бесконечным и, конечно же, неслучайным совпадениям: цельная, неразрывная ткань жизни крепко-накрепко переплетена во времени и в пространстве бесчисленными нитями. Не зря же Чехов писал, что «прошлое... связано с настоящим непрерывною цепью событий», и стоит дотронуться до одного конца этой цепи, как дрогнет другой. Цепь, из которой нельзя выбросить ни одного звена.

А потом мы оставляли «сентябринки» у памятника Виктору Васнецову в виде конного богатыря с поникшей головой, на могиле его брата Аполлинария, на памятнике которому изображён отвернувшийся мудрец в античной тоге, у надгробия Михаила Михайловича Пришвина работы Конёнкова – вещая птица Сирин с нелюдимо растопыренными крыльями и незрячим, запрокинутыми в небо лицом...

На каком же памятнике я это видела? Теперь и не вспомнить. Крест на светло-серой могильной плите так густо опле-

тён каменным виноградом с буйными, резными листьями, с такими сочными, тяжёлыми, налитыми соком гроздьями, что понимаешь – смерти нет, и снова слышишь ликующий возглас: «Смерть, где твоё жало?»

Для трапезы мы забираемся с самый дальний угол кладбища, к бетонному забору, сразу за ним начинаются жилые «хрущёвки». Афанасьич, беспокожно оглядываясь: «где тут народу поменьше, а то неудобно...», выбирает памятник с польской фамилией:

– Если что, скажешь, мы твою тётушку поминаем, паспорт покажешь...

– Да можем вообще к могиле Яблонской пройти, это недалеко от Вариных бабушки и дедушки, помните, где мы Алексеевых искали...

– Не надо, не надо, – испуганно машет руками Наталья, – уже сил нет возвращаться, да там и народу много.

Я достаю бутерброды, Андрюша разливает коньяк по пластмассовым стаканчикам:

– Спите спокойно, дорогие... Вечная память.

А в воздухе уже пахнет зимой, смеркается, подмораживает, вечерет...

Мы бредём парком к метро «Бауманская», в пруду по розовеющей от заката воде плавают утки, на дорожках неожиданно много гуляющих, и тихо, тихо... Как хорошо! На жёлто-оранжевом закатном небе тёмные силуэты: кресты и купола церквей в лианообразном сплетении троллейбусных

проводов. Мы уже на улице Радио.

– А вот ЦАГИ, Центральный научно-исследовательский аэродинамический институт имени Жуковского, вернее, его филиал, – оборачивается к нам шагающий впереди Андрюша. – Основная база теперь под Москвой, в Жуковском. Институт и был основан по предложению Жуковского в восемнадцатом году, как научный центр в области авиации. А сам Николай Егорович был профессором МГУ и Московского Императорского технического училища, Бауманки нашей...

Наташка смотрит гордо – её младший сын учится в Бауманском, как раз на аэрокосмическом факультете.

– Но ЦАГИ хоть не продали ещё «эффективным собственникам»? Продолжает работать? – спрашиваю я.

– Слава Богу, не продали. И не продадут, надеюсь. Типун тебе на язык!

Мы сворачиваем на Бауманскую улицу.

– И зачем он заставил нас искать этих Алексеевых? – шёпотом интригует Наталья, опасно поглядывая на спину мерно, по-солдатски вышагивающего Афанасьича. – Что, мы ему школьницы, что ли? И ведь всё равно не нашли! Это он нарочно, я уверена. У меня ноги отваливаются...

– Наташа, я ему так благодарна! Если бы не Алексеевы, разве я нашла бы бабушку и дедушку Вари? Потерпи, уже скоро, я знаю этот район...

Через два дня по электронной почте придёт письмо из Америки, от Вари:

«Дорогая Лена, как здорово, что ты нашла моих бабушку и дедушку. Да, у них были разные фамилии. У моего папы – бабушкина, а у его родного брата Бориса – дедушкина. Возможно, это как-то связано с модной в тридцатые годы эмансипацией. Моя бабушка умерла очень рано, я была совсем маленькой. Дедушка пережил жену на несколько лет и умер от инфаркта, когда мне было шесть лет, и я его тоже не помню. Но всё же я много знаю о нём со слов папы и дяди Бори.

Мой дедушка Георгий Иванович Гаврилов окончил Академию хим-защиты имени Ворошилова и заведовал одним из почтовых ящиков Наркомата обороны. В начале войны Сталин лично говорил с ним по телефону:

– Здравствуйте, товарищ Гаврилов. Хотим поручить вам в кратчайший срок разработать эффективное средство для борьбы с немецкими танками. Враг рвётся к Москве. Работу необходимо выполнить за месяц-полтора. Верю, что вы справитесь с заданием. Успехов вам.

Подробности технических требований к новому оружию были переданы той же ночью из Наркомата обороны: для вооружения пехоты при борьбе с прорвавшимися танками противника необходимо создать зажигательное устройство без взрывателя, разрушающееся и самовоспламеняющееся при столкновении с бронёй танка.

Группа сотрудников во главе с Георгием Ивановичем работала круглосуточно, ночевали прямо на работе. В качестве воспламенителя был выбран белый фосфор, вспыхивающий

при контакте с воздухом. Была разработана зажигательная смесь, которая впоследствии на Западе получила название «коктейль Молотова». При отработке состава и испытаниях смеси в помещениях лабораторий помимо огнетушителей стояли ещё и ёмкости с водой, куда сотрудники могли броситься, чтобы потушить вспыхнувшую одежду. В атмосфере азота смесь разливали в стеклянные бутылки и запечатывали пробками с сургучом. Когда бутылка разбивалась о броню танка, фосфор вспыхивал, смесь загоралась и делалась очень текучей. Температура достигала 1500 градусов по Цельсию, пламя охватывало не только поверхность танка, но проникало во все щели, взрывало бензобаки, и поэтому было неважно, в какое место танка попадала бутылка.

После завершения работ дедушке позвонил секретарь Сталина Поскрёбышев и поблагодарил от имени вождя за успешно выполненное задание. Одновременно он сообщил, что Георгий Иванович награждён боевым орденом Красной Звезды, а его сотрудники – другими орденами и медалями. В то время орден Красной Звезды был второй по значимости наградой после ордена Ленина. Позже зажигательная смесь, разработанная под руководством Гаврилова, использовалась в ракетах легендарных установок «Катюша». Так мой дед непосредственно участвовал в создании «оружия победы».

Это было осенью 1941 года, когда судьба Москвы висела на волоске. Бабушка с детьми была в эвакуации. Дедушке тогда было всего тридцать шесть лет, у него были жгуче-чёр-

ные волосы. А когда он приехал за семьёй в Кемерово в мае 1942 года, то был наполовину седой. Это было результатом тяжелейшей, напряжённой работы. Мой семилетний папа на всю жизнь запомнил, как его отец поседел всего за полгода, и потом рассказывал нам с Димой об этом, по его словам, «маленьком эпизоде из того чуда, которое совершили советские люди».

Бабушка и дедушка жили на Воронцовской улице, где и я с родителями провела первые четыре года моей жизни. Мама говорит, что её свекровь была очень хорошей, доброй женщиной. Но меня на кладбище никогда не водили, так что могилу я не помню, а может, даже никогда не видела. Хотя, конечно, когда выросла, сама могла бы поинтересоваться, но в молодости было не до того. Я приеду в Москву в конце января, на свой юбилей, который решила отмечать с вами, и обязательно пойду на кладбище, а пока с нетерпением жду от тебя фотографии. Диме я уже написала, он-то родился, когда ни бабушки, ни дедушки не было в живых. Как же всё в нашем мире взаимосвязано – не перестаю удивляться. Ведь это, наверное, большое кладбище, а ты наткнулась именно на моих родственников».

А я напишу в ответ: «Варя, я ни минуты не сомневалась, что это твои бабушка и дедушка – в вашей семье все так похожи друг на друга! А фотография твоего совсем молодого папы висит на стенде в фойе нашего института среди других, когда-либо работавших у нас академиков. Приходя на

работу, я всегда мысленно здороваюсь и с Владимиром Георгиевичем, и с тобой, и от этого мне целый день тепло на душе...»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.